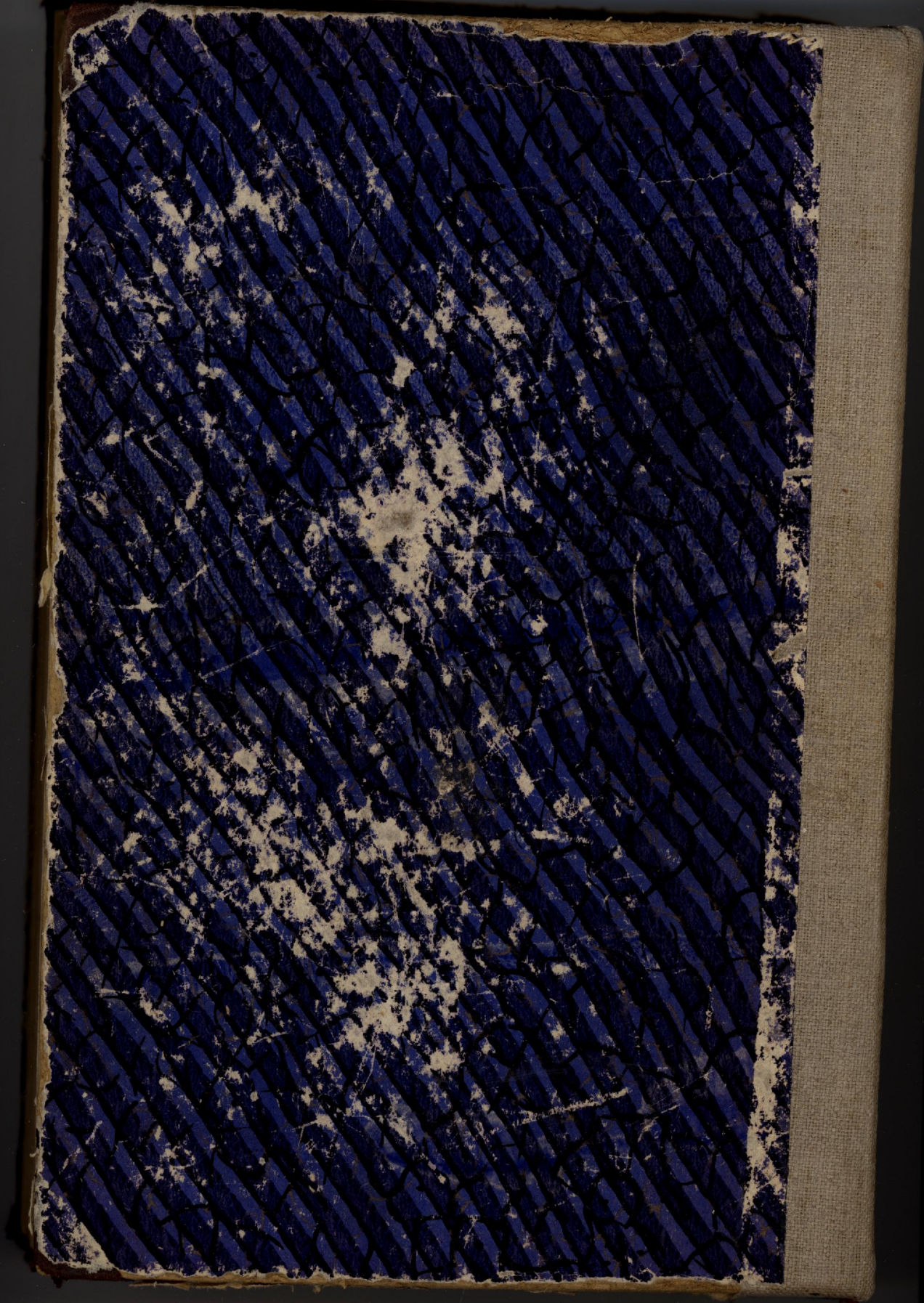
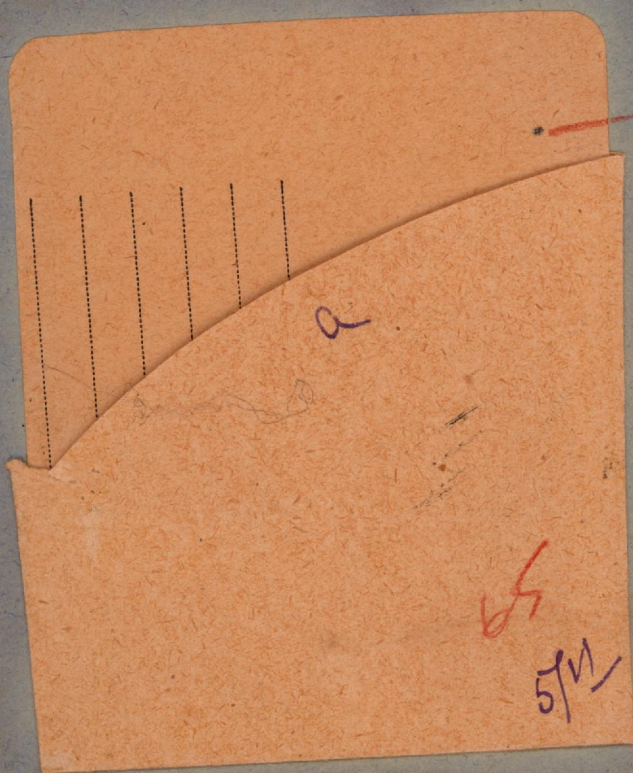


233959



~~801~~ III 40
B-74



1924

H4

RECEIVED
JAN 1925

69

ідей знайшли розв'язок
у робочих книжках і
журналистів

1942
м.к.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

— И —

12.VI
10/103.

ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА.

Томъ IV-й.

ЯЗЫКЪ, КАКЪ ТВОРЧЕСТВО.

(Психологическія и соціальныя основы творчества рѣчи).

1924
42.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА.

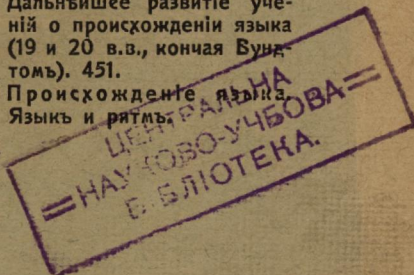
Проф. *А. Л. Погоди́къ.*

Изд.-Ред.—*Б. А. Лези́къ.*

- Главы:
- I. Объемъ задачи и методы рѣшенія ея. 1.
 - „ II. Особенности духовнаго склада въ мірѣ животныхъ. 8.
 - „ III. Внутренняя рѣчь. 29.
 - „ IV. Афазія и другія разстрой-ства рѣчи. 49.
 - „ V. Разстройства рѣчи при исте-ріи, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ. 68.
 - „ VI. Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духов-ная жизнь. 91.
 - „ VII. Мимика и жестъ. 113.
 - „ VIII. Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ сновидѣніяхъ. 125.
 - „ IX. Психологія дѣтскаго воз-раста и рѣчь дѣтей. 146.
 - „ X. Языки некультурныхъ на-родовъ. 213.
 - „ XI. Искусственные языки. 289.

- Главы:
- XII. Образъ и слово.—Развитіе значенія слова.—Слова безъ образа.—Понятія.—Сужде-нія. 308.
 - „ XIII. Взгляды греческихъ и рим-скихъ философовъ и грам-матиковъ на происхожденіе языка. 364.
 - „ XIV. Взгляды на происхожденіе языка и сущность названій въ средніе вѣка. 375.
 - „ XV. Лейбницъ и Гаррисъ. Руссо и французская философія 18 вѣка. Гердеръ и Гаманнъ. Гумбольдтъ. Гриммъ. Гейзе. 393.
 - „ XVI. Дальнѣйшее развитіе уче-ній о происхожденіи языка (19 и 20 в.в., кончая Бунд-томъ). 451.
 - „ XVII. Происхожденіе языка. Языкъ и рѣчь.

ХАРЬКОВЪ.
1913.



Вопросы теории и психологии творчества.

Т. I, изд. 2-е исправленное, переработанное, значительно дополненное

	Стр.
I ч. Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Изъ лекціи объ основахъ художественнаго творчества	1—20
Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Лингвистическая теорія происхожденія искусства и эволюція поэзіи	20—33
К. Тиандеръ. Очеркъ эволюціи эпического творчества	33—84
Е. Аничковъ. Историческая поэтика А. Н. Веселовскаго	84—110
II ч. А. Горнфельдъ. Трагедія	149—148
К. Тиандеръ. Обзоръ сюжетовъ драматической поэзіи	148—163
К. Тиандеръ. Сущность комедіи	164—174
III ч. А. Горнфельдъ. Изъ статьи „Муки слова“	174—202
Б. Лезинъ. Художественное творчество, какъ особый видъ экономіи мысли	202—244
IV ч. К. Тиандеръ. Историческія перспективы современной лирики	244—291
Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Нѣсколько мыслей о происхожденіи чувства „Безконечнаго“ въ чистой лирикѣ	294—317
Т. Райновъ. Лирика научно-философскаго творчества	294—317
V ч. А. Горнфельдъ. Проза	317—318
В. Харціевъ. Что такое проза?	318—335
А. Горнфельдъ. Фигура въ поэтикѣ и риторикѣ	335—340
„ Эпитетъ “	340—343
VI ч. А. Горнфельдъ. Тропъ	343—347
В. Харціевъ. Элементарныя формы поэзіи	347—399
А. Горнфельдъ. Поэзія	399—408

Приложенія: **К. Кавелинъ.** Мефистофель Антокольскаго. **В. Харціевъ.** Психологія поэтического образа въ примѣненіи къ воспитанію. **Д. Н. Овсяннико-Куликовский.** О преподаваніи теории словесности въ средней школѣ. Указатель 432

Цѣна 1 р. 75 к.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

— И —

ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА.

1166 (214)

Томъ IV-й.

ЯЗЫКЪ, КАКЪ ТВОРЧЕСТВО.

(Психологическія и соціальныя основы творчества рѣчи).

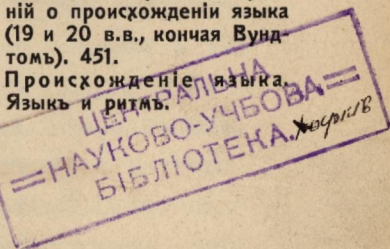
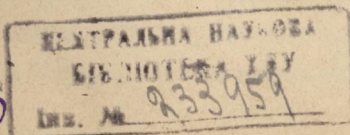
ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЯЗЫКА.

Проф. *А. Л. Погодинъ.*

Изд.-Ред. — *Б. Н. Лезинъ.*

- Главы: I. Объемъ задачи и методы рѣшенія ея. 1.
" II. Особенности духовнаго склада въ міръ животныхъ. 8.
" III. Внутренняя рѣчь. 29.
" IV. Афазія и другія разстройства рѣчи. 49.
" V. Разстройства рѣчи при истеріи, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ. 68.
" VI. Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь. 91.
" VII. Мимика и жестъ. 113.
" VIII. Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ сновидѣніяхъ. 125.
" IX. Психологія дѣтскаго возраста и рѣчь дѣтей. 146.
" X. Языки некультурныхъ народовъ. 213.
" XI. Искусственные языки. 289.

- Главы: XII. Образъ и слово. — Развитие значенія слова. — Слова безъ образа. — Понятія. — Сужденія. 308.
" XIII. Взгляды греческихъ и римскихъ философовъ и грамматиковъ на происхожденіе языка. 364.
" XIV. Взгляды на происхожденіе языка и сущность названій въ средніе вѣка. 375.
" XV. Лейбницъ и Гаррисъ. Руссо и французская философія 18 вѣка. Гердеръ и Гаманнъ. Гумбольдтъ. Гриммъ. Гейзе. 393.
" XVI. Дальнѣйшее развитіе ученій о происхожденіи языка (19 и 20 в.в., кончая Вундтомъ). 451.
" XVII. Происхожденіе языка. Языкъ и ритмъ.



Центральна наукова бібліотека
ХНУ імені В. Н. Каразіна
2013р.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

378
Въ основаніи книги, предлагаемой вниманію читателей, лежатъ мои лекціи по языкознанію, которыя я читалъ въ продолженіе двухъ лѣтъ на „Историко-филологическихъ и юридическихъ высшихъ женскихъ курсахъ“ Н. П. Раева въ Петербургѣ и въ продолженіе одного года—въ Варшавскомъ университетѣ. По иниціативѣ и предложенію Б. А. Лезина, онѣ подверглись мною совершенной переработкѣ и появляются теперь въ печатномъ видѣ. Чтобы оправдать свою рѣшительность, я долженъ сказать нѣсколько словъ. Наши общіе курсы по языкознанію совершенно минуютъ психологическую сторону вопроса: они берутъ языкъ, какъ уже сотворенное, тогда какъ мнѣ представляется чрезвычайно важнымъ и нужнымъ приучить образованнаго лингвиста видѣть въ языкѣ, прежде всего, процессъ творчества. Обширная область психологіи должна, по моему убѣжденію, войти въ сферу общаго языкознанія, и этому своему пониманію я старался слѣдовать въ настоящемъ трудѣ. Насколько это удалось мнѣ, пусть судятъ читатели. Я же могу только сказать, что старался не подходить къ вопросамъ психологіи, затронутымъ въ моей книгѣ, по диллетантски. Ея появленію предшествовали спеціальныя статьи: „Почему не говорятъ животныя“ (въ Варшавскихъ „Университетскихъ извѣстіяхъ“, потомъ отдѣльной брошюрой въ изданіи М. Вольфа 1908) и „Внутренняя рѣчь и ея разстройства“ (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1906 годъ). Литературныя указанія, которыя я считалъ нужнымъ приводить, помогутъ читателю, желающему подробнѣе познакомиться съ тѣмъ или другимъ вопросомъ. Такъ какъ изданіе Б. А. Лезина предназначается для молодежи и для цѣлей самообразованія, то естественно, что я старался говорить ясно и просто, не затемняя вопроса излишними подробностями. Только сознаніе, что книга съ тѣмъ содержаніемъ, по тому плану, который я намѣтилъ, представляетъ одну изъ назрѣвшихъ задачъ въ нашей высшей школѣ, только это сознаніе заставило меня рѣшиться выступить на широкую арену печати

со своимъ трудомъ. Быть можетъ, онъ не пройдетъ безслѣдно въ нашей популярно-научной литературѣ, приучить внимательнаго читателя наблюдать психологическіе процессы своего языкового творчества и обратить его вниманіе на нѣкоторые вопросы, которые нуждаются въ дальнѣйшей разработкѣ.—Мнѣ бы хотѣлось связать свой трудъ со славнымъ именемъ покойнаго А. А. Потебни, который въ своемъ сочиненіи „Мысль и языкъ“, напечатанномъ въ 1862 г. (втор. изд. 1892), указалъ пути для изслѣдованія отношеній между мыслью и словомъ и уже намѣтилъ тѣ вопросы, къ изученію которыхъ пришла современная наука. Донинѣ образованный лингвистъ долженъ былъ хорошо знакомъ съ этимъ замѣчательнымъ сочиненіемъ, которое въ Россіи положило начало и научному изученію теоріи поэзіи и прозы и изслѣдованіямъ (къ сожалѣнію, столь рѣдкимъ у насъ) въ области психологіи языка.

ГЛАВА I.

Объемъ задачи и методы рѣшенія ея.

Языкъ человѣка есть постоянное творчество мысли, выраженіе самосознанія его. Въ то время, какъ произвольно вырывающееся восклицаніе, не имѣющее, по большей части, опредѣленно артикулированной формы, есть продуктъ инстинкта, подобно мимикѣ, — слово является уже надстройкой надъ инстинктомъ. Для того, чтобы смогла возникнуть его внѣшняя форма, т. е. извѣстное звуковое сочетаніе, было необходимо инстинктивное сотрудничество различныхъ органовъ: голосовыхъ связокъ, языка, губъ, носонебной занавѣски. Но для созданія внутренняго содержанія слова, его значенія, потребовались весьма сложные психическіе процессы, въ основѣ которыхъ лежало когда-то, вѣроятно, также инстинктивное теченіе зрительныхъ и слуховыхъ образовъ, но которые въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи вышли уже очень далеко изъ области этой образности. Поэтому, нашъ теперешній человѣческій языкъ есть чисто человѣческое созданіе, и языкъ ребенка или языкъ дикаря представляетъ иныя формы творчества, чѣмъ языкъ взрослого культурнаго человѣка. И вмѣстѣ съ тѣмъ языкъ каждаго изъ насъ въ каждую минуту является новымъ произведеніемъ нашихъ душевныхъ состояній, новымъ творчествомъ. Иначе творить свой языкъ здоровый и больной человѣкъ, зрячій и слѣпой, обученный глухонѣмой, мистикъ, впавшій въ состояніе экстаза и т. д. Для познанія рѣчи, какъ процесса творчества мысли, очень полезно изученіе всѣхъ этихъ состояній говорящаго лица. Конечно, мы выходимъ при этомъ далеко за предѣлы инстинкта.

Инстинктивно мы понимаемъ крикъ ужаса или радости, изданный человѣкомъ, который говоритъ на чужомъ, неизвѣстномъ намъ языкѣ, хотя самое слово, которое онъ выкрикнулъ, намъ непонятно. Инстинктивно мы различаемъ веселый и тревожный лай собаки, испуганное мяуканіе кошки; нашъ повелительный тонъ понимаетъ животное такъ же, какъ жестъ или выраженіе лица. Младенецъ, едва различающій звуки, инстинктивно схватываетъ разницу между ласковымъ приголубливаніемъ матери и равнодушнымъ тономъ доктора. И душевнобольной афатикъ, теряя образы словъ, переставая говорить и понимать, еще сохраняетъ способность нагѣвать арію, различать тоны. Прирожденный инстинктъ еще не утратилъ своей силы, но приобрѣтенныя знанія исчезли. Для того, чтобы самому творить

языкъ, каждый изъ насъ еще долженъ приобрести способность творить его, долженъ набрать необходимое количество матеріала и орудій для собственной постройки. Представляется совершенно неправдоподобнымъ, что только недостаточное развитіе нервной системы не позволяетъ ребенку сейчасъ же послѣ рожденія начать говорить. Однако, высказывался и такой взглядъ. Напротивъ, психологія дѣтской рѣчи показываетъ, какъ медленно собирается нужный для языка матеріалъ. Та или иная форма взаимобщенія между людьми,—разговоры, чтеніе книгъ и т. под., позволяетъ собрать первичный матеріалъ. Это соты, которые духъ человѣка наполняетъ содержаніемъ, переработаннымъ въ сознаніи, но воспринятымъ изъ жизни. До сихъ поръ только человѣкъ достигъ способности говорить, и нѣтъ признаковъ того, чтобы какое-либо иное животное уже приближалось къ уровню, на которомъ создается рѣчь.

Этими общими замѣчаніями опредѣляется планъ книги о языкѣ, какъ творествѣ. Здѣсь необходимо прежде всего рассмотреть проблему инстинкта. Занятая собираніемъ цвѣточной пыли, пчела хлопотливо жужжитъ. Курица, перелетая черезъ заборъ, отчаянно кричитъ, хотя за ней никто не гонится; оселъ, пасясь на полѣ, задираетъ голову и неустойчиво вопитъ, раздувая бока. Что это: выраженіе эмоціи въ извѣстныхъ звукахъ или разговоръ съ самимъ собой, въ родѣ того, какъ иногда говорятъ сами съ собой разсѣянные или волнующіеся люди? Если такъ, то по существу между рѣчью человѣка и этими животными криками не было бы разницы. Однако, мы сразу видимъ, что это величины несравнимыя: содержаніе рѣчи человѣка, говорящаго съ самимъ собой, измѣняется, тогда какъ крики животныхъ въ высшей степени однообразны. Только источникъ ихъ всѣхъ одинаковъ: это возбужденіе, но въ то время, какъ у животныхъ одного вида опредѣленное возбужденіе вызываетъ одинаковый звуковой рефлексъ, у человѣка эта реакція является различной и весьма сложной, при чемъ на ея видоизмѣненія оказываетъ вліяніе тотъ факторъ, который въ звуковыхъ разряженіяхъ энергіи у животныхъ, повидимому, отсутствуетъ,—именно самосознаніе. Въ обоихъ случаяхъ, какъ уже указано выше, мы имѣемъ дѣло со сложнымъ инстинктомъ, но у человѣка рѣчь выходитъ за предѣлы инстинктивной реакціи на раздраженія. Если бы животные не были способны къ болѣе сложнымъ звуковымъ выраженіямъ, нежели простой крикъ, птичій свистъ, лай, вой, то отсутствіе у нихъ членораздѣльной, человѣкообразной рѣчи могло бы объясняться, пожалуй, несовершенствомъ ихъ говорильнаго аппарата. Но дѣло въ томъ, что нѣкоторые виды животныхъ при дрессировкѣ, а другіе и отъ природы способны производить довольно сложные звуки, произносить цѣлыя слова. Говоряція собаки, попугаи, воспроизводящіе безразлично человѣческія слова и всевозможные звуки, скворцы и т. д. указываютъ на то, что и нѣкоторые животные *могли бы* говорить. Такимъ образомъ первый вопросъ, который

возникаетъ передъ изслѣдователемъ проблемы происхожденія человѣческой рѣчи, сводится къ выясненію тѣхъ особенностей, которыя отличаютъ душевную жизнь человѣка отъ животной. Именно въ этихъ особенностяхъ должна заключаться причина того, что человѣкъ говоритъ, а животное нѣтъ, что ни одно изъ нихъ не достигло способности *разнообразно и условно* выражать свои чувства и представленія, сознавая при этомъ, что цѣлью такого выраженія служить передача соотвѣтствующихъ представлений и душевныхъ состояній себѣ подобнымъ.

Благодаря этой способности, которую приобрѣлъ человѣкъ, его духовная жизнь должна была вылиться въ формы, которыхъ лишены такія состоянія его духовнаго организма, когда рѣчь отсутствуетъ, когда человѣкъ не можетъ говорить. Однако, подъ говореніемъ надо понимать въ данномъ случаѣ не внѣшнюю рѣчь, не внѣшнее выраженіе чувствъ и мыслей въ словахъ, но внутреннюю рѣчь, мышленіе словами. Эта рѣчь является постояннымъ и необходимымъ спутникомъ нашей сознательной духовной жизни, переводчикомъ на языкъ *нашей* мысли того, что мы слышимъ, и что безъ нея, безъ помощи этой нашей внутренней рѣчи, было бы для насъ лишено всякаго смысла. Когда замолкаетъ внутренняя рѣчь, духовная жизнь человѣка или идетъ въ разбродъ, какъ это бываетъ въ безсвязныхъ сновидѣніяхъ, или становится просто потокомъ образовъ, или сводится къ застывшему въ неподвижности созерцанію, какъ это наблюдается въ извѣстныхъ состояніяхъ экстаза. Слѣдовательно, изучая рѣчь, какъ творчество, необходимо отвѣтить на вопросы: что такое внутренняя рѣчь, и какой характеръ имѣютъ состоянія, лишенные внутренней рѣчи? Елена Келеръ, Лаура Бриджменъ и другіе люди, отъ рожденія слѣпо-глухо-нѣмые, но научившіеся говорить, представляютъ большой интересъ для изслѣдователя психологическихъ основаній рѣчи. Какъ складывается духовная жизнь глухонѣмыхъ, до которыхъ не доходитъ ни одного звука нашей рѣчи? А если они къ тому же слѣпы, то какіе образы заполняютъ ихъ сознаніе? Или въ этомъ мракѣ, въ этомъ вѣчномъ безмолвіи нѣтъ никакихъ образовъ? Но тогда въ чемъ же заключается духовная жизнь этихъ бѣдныхъ человѣческихъ существъ? Необходимо заглянуть въ ихъ духовный міръ и разсмотрѣть, что происходитъ съ нимъ, когда благодѣяніе человѣческой рѣчи становится доступнымъ и глухонѣмымъ. Возникновеніе внутренней рѣчи преобразуетъ весь душевный міръ глухонѣмого, какъ это достаточно ярко обнаружили воспоминанія Елены Келеръ и наблюденія надъ Лаурой Бриджменъ. Мы видимъ смѣну хаоса порядкомъ, безсознательности или полусознанія какого-нибудь животнаго полнымъ самосознаніемъ человѣка.

Но мы можемъ идти и въ другомъ порядкѣ, наблюдая, какъ съ погашеніемъ самосознанія таетъ и пропадаетъ внутренняя рѣчь, пока не исчезнетъ вовсе. Нѣкоторые виды душевныхъ болѣзней чрезвычайно поучительны для языковѣда.

Въ своемъ развитіи не только эмбриональномъ, но и позднѣйшемъ
человѣческое дитя проходитъ черезъ тѣ этапы, черезъ которые проходило
въ своемъ развитіи человѣчество. Сначала ребенокъ не говоритъ, но *какъ видно*
инстинктъ творчества звуковъ пробуждается рано: младенецъ начинаетъ
„разговаривать“, пытается слагать звуки и произносить среди нихъ мно-
жество такихъ, которые потомъ, въ зрѣломъ возрастѣ, будетъ считать для
себя невозможными: подобно современному дикарю, какому-нибудь южно-
африканцу, онъ произноситъ на своемъ „языкѣ“ всасывающіе, прищел-
кивающіе и причмокивающіе звуки, всевозможные отгѣнки и нашихъ
„культурныхъ“ звуковъ членораздѣльной рѣчи. Какъ ни богаты и эти по-
слѣдніе всевозможными варіаціями, устанавливаемыми съ помощью при-
боровъ т. наз. экспериментальной фонетики, несомнѣнно, на первыхъ ша-
гахъ дѣтской рѣчи мы встрѣчаемъ такіе звуки, которые представляютъ
далекое наслѣдіе отъ первыхъ людей, начавшихъ говорить. Такимъ обра-
зомъ, и внѣшняя форма первыхъ дѣтскихъ попытокъ рѣчи представляетъ
огромный интересъ для изслѣдователя одного изъ кардинальных вопро-
совъ психологій, вопроса о происхожденіи человѣческаго языка. Однако,
еще важнѣе, еще поучительнѣе развитіе психической жизни ребенка, за-
ставляющее его переходить отъ мычанія къ слогамъ и отъ слоговъ къ
цѣлымъ словамъ, заимствованнымъ у окружающихъ людей. Инстинктъ со-
зданія собственной рѣчи настолько силенъ у человѣка, что и позже, на-
учившись говорить такъ, какъ взрослые, ребенокъ любитъ сочинять соб-
ственные слова, выдумывать иногда собственный языкъ, строеніе котораго
напоминаетъ особенности языка дикарей. И чуть не въ каждой школѣ у
дѣтей складывается такой самобытный искусственный языкъ. Замѣ-
чено при этомъ, что всего сильнѣе такой инстинктъ созданія собствен-
наго языка обнаруживается у дѣтей школьнаго возраста въ томъ періодѣ,
когда первобытный человѣкъ, да и теперь среди еще уцѣлѣвшихъ дикихъ
племенъ, начиналъ свою самостоятельную жизнь. Слѣдовательно, психо-
логія дѣтской рѣчи входитъ съ несомнѣнной необходимостью въ трудъ
главная задача котораго заключается въ выясненіи условій возникновенія
рѣчи и опредѣленія богатства, полученнаго человѣкомъ вмѣстѣ съ языкомъ.
Что же именно приобрѣлъ человѣкъ, научившись говорить или создавъ у
себя внутреннюю рѣчь? Онъ получилъ слово, условный знакъ, съ кото-
рымъ у каждаго изъ насъ связываются свои собственные представленія
и образы. Какъ отвлеченный, самъ по себѣ ничего незначащій знакъ,
слово даетъ возможность мыслить не конкретными образами, но отвлечен-
ными знаками, т. е. создаетъ абстрактное мышленіе, сужденіе, наконецъ—
сознаніе. Вмѣсто того, чтобы плыть по теченію своихъ образовъ, регули-
руя его лишь настроеніемъ, которымъ охвачена душа, мы становимся,
благодаря слову, хозяевами надъ этими образами, мы изгоняемъ ихъ изъ
нашихъ словъ, мы соединяемъ блѣдныя тѣни многихъ сходныхъ образовъ

въ одно слово, мы получаемъ размѣнную монету для культурнаго общенія. Безъ понятій не можетъ быть отвлеченной мысли, а по своему происхожденію понятія вѣдь только слова, лишенныя образнаго содержанія. Такимъ образомъ, мы возвращаемся къ тому мѣсту, изъ котораго вышли, говоря о духовной жизни животныхъ; кругъ психологическаго изслѣдованія языка завершёнъ. Передъ нами встаетъ другая сторона его, социальная. Человѣкъ сознаетъ, что рѣчь нужна ему прежде всего для него самого, что онъ не можетъ думать, не говоря, но онъ сознаетъ также, что рѣчь только мыслимая, а не произносимая, лишь на половину достигаетъ своей цѣли, что люди говорятъ между собой для того, чтобы понимать другъ друга. Въ долгомъ одиночествѣ обычный чловѣкъ утрачиваетъ способность рѣчи и вмѣстѣ съ тѣмъ впадаетъ въ какое то звѣриное состояніе, становится тѣмъ *Homo sapiens ferus*, о которомъ столько любопытныхъ матеріаловъ собралъ нѣмецкій ученый Рауберъ. Вообще, рѣчь внѣ общенія съ себѣ подобными представляетъ нѣчто немислимое: лишь благодаря общественному инстинкту чловѣка, могъ развиваться даръ сознательной рѣчи. Есть племена дикарей, которые, какъ разсказываютъ путешественники, предпочитаютъ прибѣгать къ помощи т. наз. „языка жестовъ“: вмѣсто того, чтобы позвать товарища, они подбѣгаютъ къ нему и опредѣленными, разъ на всегда условленными жестами, объясняютъ ему необходимое. Однако, значеніе этихъ случаевъ нельзя преувеличивать; нѣтъ никакого сомнѣнія, что рядомъ съ языкомъ жестовъ у этихъ американскихъ индѣйцевъ существуетъ и обычный языкъ, состоящій изъ словъ. Слово есть то орудіе, которымъ сколочена социальная жизнь чловѣка. Но слово, какъ нѣчто отдѣльное, не существуетъ въ живомъ языкѣ. Ему мѣсто только въ словарѣ, а мы говоримъ не словами, а фразами. Что же первоначальнѣе: слово или предложеніе? Слово ли выдѣлилось изъ предложенія, или слово было сначала и цѣлымъ предложеніемъ, которое лишь въ послѣдствіи раздѣлилось на слова? Передъ нами одна изъ новѣйшихъ проблемъ языковѣдѣнія, которая могла возникнуть лишь теперь, когда психологическое изученіе языка достигло извѣстнаго развитія; сначала казалось такъ ясно и просто, что фразы состоятъ изъ словъ, а не слова выдѣляются изъ фразы. Но въ настоящее время выдвинуто противоположное ученіе: языкъ возникъ изъ сложныхъ выраженій, имѣвшихъ значеніе все не одного слова, означающаго предметъ или дѣйствіе, но цѣлаго предложенія. Такимъ образомъ, мы приходимъ постепенно къ основному вопросу книги: какъ возникъ чловѣческій языкъ? Здѣсь необходимо разсмотрѣть различныя теоріи, которыя были выставлены для разрѣшенія этого вопроса, волновавшаго, по свидѣтельству Геродота, уже египетскихъ фараоновъ. Я постараюсь развить ту точку зрѣнія, согласно которой происхожденіе языка нельзя отдѣлять отъ начала чловѣческой пѣсни: книга Бюхера о ритмѣ даетъ, по моему мнѣнію, чрезвычайно цѣнныя ука-

занія на то, какъ въ связи съ первоначальной пѣсней стоитъ и первоначальный языкъ. Мы спускаемся еще глубже того синкретизма, которому посвятилъ столько блестящихъ страницъ покойный А. Н. Веселовскій. Такова программа труда, который изучаетъ языкъ, какъ творчество.

Въ настоящей книгѣ мы рассмотримъ сначала особенности душевнаго уклада животнаго, затѣмъ явленія внутренней рѣчи у здороваго и больного человѣка, вопросъ объ афазіи и расстройствахъ рѣчи при истеріи, особенности душевныхъ явленій, въ которыхъ наличность языка придаетъ порядокъ и стройность теченію образовъ (сновидѣніе, экстазъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ мы остановимся на духовной жизни глухонѣмыхъ, на психологіи дѣтской рѣчи, на особенности рѣчи у дикихъ народовъ, на искусственныхъ языкахъ и затѣмъ перейдемъ къ „психологіи слова“ (слово и образъ, сужденіе, развитіе значенія слова) и къ отношеніямъ между словомъ и предложеніемъ. Такъ подготовивъ отвѣтъ на вопросъ о началѣ человѣческой рѣчи, мы рассмотримъ взгляды старыхъ и новыхъ ученыхъ на этотъ предметъ. При такой постановкѣ проблемы, быть можетъ, удастся избѣжать той произвольности въ разрѣшеніи ея, которая вызвала такое великое разнообразіе точекъ зрѣнія на возникновеніе языка, какъ одного изъ видовъ умственнаго творчества.

ГЛАВА II.

Особенности духовнаго склада въ мірѣ животныхъ.

Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ приходилось полемизировать съ „антропоморфизмомъ“, съ тѣмъ ненаучнымъ направленіемъ въ изученіи животной психики (зоопсихологіи), которое отождествляло духовную жизнь животныхъ съ человѣческой. Множество авторовъ популярныхъ книжекъ и Бремъ въ числѣ ихъ рассказывали про умъ животныхъ такія вещи, которыя заставляли удивляться, какъ это при чисто человѣческихъ способностяхъ и чувствахъ собака, или кошка, или муравей не говорятъ. Впрочемъ, доходило и до рѣчи: американецъ Гарнеръ изучалъ языкъ тосковавшей въ плѣну обезьянки и хотя не понималъ ея длинныхъ монологовъ, зналъ, что она жалуется на сѣрое небо и холодъ своего плѣна и вспоминаетъ о своемъ прекрасномъ югѣ. Лёббокъ открылъ способъ общенія между собой муравьевъ, и если не составилъ грамматики и словаря ихъ языка, то все же научился понимать муравьиный языкъ. Бремъ насквозь видѣлъ душу кошки, которая изъ любезности провожала гостей ея хозяйки. Нечего и говорить, что люди, писавшіе съ опредѣленной цѣлью разжалобить человѣка по отношенію къ животному, не скупились на самыя фантастическія розсказы. Отъ нихъ не отставали дѣтскіе писатели, которые, выдумывая всякій вздоръ о душевныхъ стремленіяхъ своихъ героевъ

изъ животнаго царства, воображали, что воспитываютъ въ дѣтской душѣ гуманность и доброту къ животнымъ. На самомъ дѣлѣ, они оказывали только несомнѣнный вредъ развитію ребенка, такъ какъ необходимо открывать ребенку глаза на жизнь природы такъ, какъ она есть, нужно приучать его наблюдать и узнавать, а не сантиментально фантазировать. Кажется, однако, популяризаторы и дѣтскіе писатели еще долго не поймутъ этого. Зато научное изслѣдованіе духовнаго міра животныхъ сдѣлало за послѣдніе годы такіе гигантскіе шаги впередъ, что уже совершенно немыслимымъ представляется возвращеніе къ старому наивному уподобленію животной душевной жизни человѣческой. И научная психологія, которая раньше чуждалась „зоопсихологіи“, теперь не можетъ уже миновать ея: въ такихъ серьезныхъ ученыхъ изданіяхъ, какъ *Revue philosophique*, *Année psychologique*, *Zeitschrift für Psychologie* и т. под., этой отрасли психологіи удѣляется все большее вниманіе. Особенно же высоко поставлено экспериментальное изученіе зоопсихологіи въ Америкѣ, гдѣ одинъ изъ изслѣдователей начала нашего вѣка, Thorndike, указалъ новые методы для изслѣдованія животной сообразительности и подражательности. У насъ же, въ Россіи, безсмертная заслуга въ дѣлѣ основанія и пропаганды зоопсихологіи принадлежитъ проф. В. А. Вагнеру, который написалъ рядъ крупныхъ изслѣдованій о ласточкахъ, паукахъ и др. и превосходный синтетическій трудъ „Биологическія основанія сравнительной психологіи (біо-психологія)“, первый томъ котораго вышелъ въ 1910 году¹⁾.

Повидимому, у низшихъ животныхъ дѣйствуетъ исключительно инстинктъ, управляющій и памятью ихъ, тогда какъ у высшихъ къ этому присоединяются извѣстныя формы соображенія. По опредѣленію французскаго ученаго, Фореля, которое можетъ считаться классическимъ, „инстинктъ есть непреклонное и врожденное желаніе исполнить рядъ дѣйствій, направленныхъ къ достиженію цѣли, которой обычно дѣйствующее лицо (*l'acteur*) не понимаетъ“. Къ этому надо только прибавить, что инстинктъ принадлежитъ не отдѣльному животному, а цѣлому виду, и представляетъ чрезвычайную устойчивость. „Инстинкты животныхъ представляютъ собою признаки для опредѣленія видовъ болѣе надежныя, чѣмъ признаки морфологическіе. Очень интересными въ этомъ смыслѣ являются наблюденія Фертона, который изучилъ *Huonoperla* острова Корсе и удостовѣрилъ, что нравы этихъ насѣкомыхъ ничѣмъ не отличаются отъ нравовъ ихъ

¹⁾ Въ дальнѣйшемъ изложеніи я цитирую это сочиненіе просто, какъ *Вагнеръ*. Другую литературу, кромѣ указанной ниже, въ этой главѣ, см. въ моей брошюрѣ „Почему не говорятъ животные?“ (изд. Вольфа СПб. 1908), гдѣ даны и подробнѣе, имѣющія отношенія къ настоящей главѣ. Кромѣ того, см. прекрасную статью проф. Г. Челпанова. „Объ умѣ животныхъ“ въ „Вопросъ Фил. и Психол.“ 1908 и хорошій обзоръ литературы въ книгѣ G. Bohn. *La naissance de l'Intelligence*. Paris. 1910.

родичей на континентѣ. Этотъ фактъ получаетъ тѣмъ большее значеніе, что островъ Корсо отдѣлился отъ континента въ одну изъ эпохъ плейстоцена, и что такимъ образомъ насѣкомыя этого острова, съ тѣхъ временъ, которыя отдѣлены отъ насъ сотнями тысячелѣтій, не скрещивались съ насѣкомыми континента. Продолжительность изолированнаго положенія острова была такъ велика, что привела къ возникновенію мѣстныхъ видовыхъ варіацій, свойственныхъ только насѣкомымъ Корсо. Несмотря на такую древность видовъ, Фертонъ за шесть лѣтъ своего изслѣдованія не встрѣтилъ ни одного раза, ни одного случая отклоненій отъ характерныхъ особенностей инстинкта: они остались неизмѣнными для островныхъ насѣкомыхъ и для насѣкомыхъ континента, даже у осмій, которыхъ гнѣздо-строеніе представляетъ большую сложность“ (Вагнеръ, 252—3). Однако, не только у вида, но и у одной и той же особи возможны отклоненія отъ шаблона инстинктивной дѣятельности, которыя вытекаютъ, конечно, не изъ сознательнаго отношенія къ дѣйствительности, но изъ различныхъ условій въ жизни нашихъ животныхъ. Такъ, тарантулы на югѣ строятъ свои жилища съ большимъ совершенствомъ въ смыслѣ защиты отъ враговъ, чѣмъ на сѣверѣ; это, по выраженію В. А. Вагнера (291), новообразованія строительнаго инстинкта, которыя произошли „путемъ накопленія уклоненій“, а „не путемъ счастливыхъ идей“, на которыя паукъ въ одинъ прекрасный день натолкнулся, разрушая зимнюю покрывку отверстія норы и рѣшивъ превратить ее въ настоящую крышку, т. е. скомбинировать два явленія, ничѣмъ между собою не связанныхъ и не имѣющихъ другъ къ другу никакого отношенія. И это тѣмъ болѣе, что мы сейчасъ, въ современной намъ фаунѣ, имѣемъ рядъ моментовъ, которые указываютъ на этапы въ филогеніи (родовомъ развитіи) разсматриваемаго инстинкта“. Другими словами, эти новообразованія инстинкта совершались въ цѣлыхъ видахъ, которые можно расположить въ послѣдовательномъ порядкѣ уклоненія отъ первоначальнаго шаблона. Значить элементъ соображенія здѣсь совершенно отсутствовалъ. Эти новообразованія создались, говоритъ В. А. Вагнеръ (308), путемъ естественнаго подбора, черезъ медленное накопленіе многочисленныхъ, мелкихъ и полезныхъ уклоненій, ибо „мотивы дѣйствій насѣкомыхъ лежатъ не въ психологіи, а въ біологіи“ (315); нѣтъ надобности предполагать у нихъ ни наличности ума, ни наблюдательности, ни способности къ размышленію.

При этомъ инстинктивныя дѣйствія отличаются въ примѣненіи къ обычнымъ условіямъ жизни животнаго чрезвычайнымъ совершенствомъ: такъ, напр., пчела строить свою ячейку со строго-математическою точностью для полученія наибольшей вмѣстительности при наименьшей затратѣ матеріала. Съ нарушеніемъ же этихъ условій, инстинктивное дѣйствіе становится нелѣпо нецѣлесообразнымъ. Когда птица сидитъ на неоплодотворенныхъ яйцахъ, бѣлка зарываетъ въ коверъ оставшіеся у нея орѣхи,

пчела кладетъ медъ въ пробуравленную ячейку, откуда онъ вытекаетъ, и т. д., то все эти дѣйствія не приводятъ къ результатамъ, которые нужны для сохраненія рода, но ихъ совершенство не становится отъ этого меньшимъ. Учиться инстинктивнымъ дѣйствіямъ нельзя: они оказываются врожденными, и молодая птица иногда лучше вьетъ свое гнѣздо, чѣмъ старая, опытная, но уже утомленная. Съ возрастомъ у одного и того же животнаго инстинкты мѣняются. „Вся совокупность данныхъ постъ-эмбриональнаго развитія инстинктовъ свидѣтельствуемъ намъ, что тамъ, гдѣ съ возрастомъ инстинкты измѣняются, мы наблюдаемъ не развитіе, а смѣну однихъ другими, при чемъ смѣна эта часто происходитъ безъ всякой внутренней связи смѣняющихся способностей. Даже тогда, когда мы можемъ прослѣдить у нихъ эволюцію данной психической способности, даже тогда намъ приходится признать, что инстинкты этихъ животныхъ въ извѣстный опредѣленный моментъ ихъ жизни являются сразу готовыми въ точной мѣрѣ, въ какой это необходимо для даннаго момента жизни даннаго животнаго. Эти готовые для даннаго періода жизни „знанія“ въ слѣдующій періодъ смѣняются новыми, тоже готовыми, какъ декораціи театральной сцены“ (Вагнеръ, 343). Конечная цѣль дѣйствія оказывается иногда просто недостижимой для пониманія животнаго: паучиха, которая откладываетъ яичко въ подводный колоколь, покидаемый ею развѣ навсегда, не знаетъ, какую пользу ея зародышу окажетъ это гнѣздо-колоколь; африканская курица, зарывающая яйцо въ горячій песокъ и оставляющая его на произволъ судьбы, также не соображаетъ, что зародышъ разовьется въ цыпленка и безъ ея помощи, такъ какъ она не увидитъ вылупливанія этого цыпленка изъ яйца. Самка страуса, которая сноситъ 14 яицъ, не понимаетъ, что ея потомство находится въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ у самки новозеландскаго козуара, которой достаточно спасти 3—5 яицъ: „у потомства козуаровъ, говоритъ Вагнеръ (413), враговъ несравненно меньше, такъ какъ Новая Зеландія не знала хищныхъ животныхъ, и вотъ число яицъ здѣсь оказывается въ четыре раза меньше, а уходъ самки отсутствуетъ вовсе“.

Недавно французскій ученый Plateau задался цѣлью опредѣлить экспериментально, обладаютъ ли насѣкомыя памятью фактовъ (*L'Année psychologique*. 1909). Онъ избралъ для своихъ опытовъ шмелей, которыхъ для различенія окрашивалъ въ яркіе цвѣта. Какимъ образомъ пчелы, шмели и осы находятъ свой улей, возвращаясь къ нему иногда съ далекаго разстоянія? Только благодаря чрезвычайно сильной памяти о совершенномъ однажды пути. Стоитъ этотъ путь измѣнить самымъ незначительнымъ образомъ, и улѣтѣвшее насѣкомое окажется въ самомъ безпомощномъ состояніи. По словамъ французскаго изслѣдователя Ж. Бонна, достаточно передвинуть улей днемъ, когда большая часть пчелъ работницъ улѣтѣла, на какіе-нибудь два метра и замѣнить его табуретомъ,

покрытымъ блюдомъ, и работницы соберутся на прежнемъ мѣстѣ улья, т. е. на блюдѣ, не будучи въ состояніи найти въ двухъ метрахъ отъ себя входъ въ улей. Отправляясь за медомъ къ уже ранѣе найденному медоносному цвѣтку, насѣкомое летитъ не прямо, а зигзагами, совершая тотъ самый путь, который случайно привелъ его къ добычѣ. Такія же зрительныя впечатлѣнія лежатъ въ основаніи „измѣренія времени“, которое наблюдается у этихъ насѣкомыхъ: въ извѣстное время дня они появляются въ томъ или другомъ мѣстѣ. Определенныя тѣни, связанные съ часомъ, окраска и освѣщеніе предметовъ представляютъ зрительныя образы, которыми руководится пчела или шмель при полетѣ къ цвѣтамъ. Смысла этихъ зрительныхъ впечатлѣній, направляя дѣятельность животного, замкнутую въ предѣлахъ инстинкта, приводитъ его къ извѣстному „умозаключенію“: надо летѣть, потому что солнце высоко, или цвѣтокъ близко, потому что осина уже осталась позади. Конечно, это „умозаключеніе“ насѣкомаго абсолютно не похоже на человѣческое и не нуждается въ словахъ: только *влеченіе* испытываетъ насѣкомое, летя въ знакомомъ направленіи къ предмету, образъ котораго остался въ его памяти. И такъ будетъ поступать каждая пчела, каждый шмель, обнаруживая этимъ постоянствомъ инстинктивную природу дѣйствія. Когда же дѣло выходитъ за предѣлы инстинкта, они покажутъ свое неразуміе. Plateau отрицаетъ память на факты у насѣкомыхъ. Шмель испытывалъ на извѣстномъ цвѣткѣ рядъ непріятныхъ ему манипуляцій и тѣмъ не менѣе упорно возвращался на этотъ самый цвѣтокъ, повидимому, забывая сразу все непріятное, что съ нимъ произошло, потому что это непріятное (хватаніе, завертываніе въ вату, даже увѣчіе) выходило изъ среды обычныхъ, соответствующихъ его инстинкту впечатлѣній. Подобно этому, нѣмецкій ученый Bethe опускалъ краба въ акваріумъ, въ темномъ углубленіи котораго находился враждебный ему и гибельный для него моллюскъ. Повинуясь инстинкту, этотъ крабъ немедленно спѣшилъ въ темный уголь, гдѣ попадалъ въ лапы моллюска. Его освобождали, опять опускали въ акваріумъ, и съ полной точностью повторялась та же самая исторія столько разъ, сколько разъ продѣлывался опытъ. Разумѣется, говорить при этихъ условіяхъ о сознательности насѣкомыхъ или этого краба невозможно. Инстинктивное же пониманіе, или, вѣрнѣе, постоянная реакція на извѣстныя раздраженія не есть языкъ, тѣмъ болѣе, что даже защитники какого-нибудь „муравьиного языка“ сводятъ его къ соприкосновенію щупальцевъ или обнюхиванію. Такимъ образомъ, можно сказать, что психическая жизнь насѣкомыхъ, поскольку, вообще, можно о ней говорить (минуя крайности теоріи тропизмовъ), есть нѣчто несоизмѣримое нашей психической дѣятельности, и потому въ жизни низшихъ животныхъ нельзя найти даже зародышей нашей способности рѣчи. Жужжаніе пчелы есть или инстинктивное разряженіе энергіи, не связанное съ „самосознаніемъ“ насѣкомаго, или дѣйствіе аппарата, прини-

мающаго участіе въ собираніи и усвоеніи цвѣточной пыли. Такъ, жужжаніе комара или шмеля, гудѣніе майскаго жука точно соотвѣтствуетъ шуму пропеллера на летательной машинѣ. Квakanье лягушекъ хоромъ также не сможетъ считаться, вопреки убѣжденію антропоморфистовъ и грезамъ поэтовъ, какимъ-нибудь хорovýmъ пѣніемъ: это просто инстинктивная подражательность, проявляющаяся у лягушки не только въ доступной ей музыкальной области, но и въ другихъ сферахъ ея дѣятельности: разомъ онѣ появляются на поверхности пруда, разомъ скачутъ въ воду. Такъ, въ водѣ стадами ходятъ рыбки, которыя всѣ разомъ поворачиваются и упиываютъ; такъ стадо овецъ, стая гусей сразу замолкаютъ или всѣ вмѣстѣ поднимаютъ крикъ. Быть можетъ, пріятное чувство или возбужденіе вызываютъ у лягушекъ ихъ „восторженное“ квakanье вечеромъ, въ лунный тихій вечеръ, но, конечно, онѣ не говорятъ себѣ при этомъ: „какъ пріятно такъ попѣть“, а тамъ, гдѣ нѣтъ самосознанія, нѣтъ самаго основнаго элемента нашего человѣческаго языка и нашего пѣнія¹⁾).

Обратимся къ животнымъ болѣе высокаго психическаго строя, къ тому разряду ихъ, который, по преимуществу, поетъ и „разговариваетъ“, — къ птицамъ. Уже Потебня въ своей замѣчательной книгѣ „Мысль и языкъ“ (2 изд., стр. 77) отмѣтилъ, что „для животнаго вѣншіе предметы существуютъ только, какъ и причина его личныхъ состояній... Въ чувственности животныхъ преобладаетъ эгоистическое чувство удовольствія и неудовольствія и исчезаетъ колоритъ, свойственный возбуждающимъ ихъ предметамъ. Одному человѣку свойственно безкорыстное стремленіе проникать въ особенности предметовъ, неумоимо искать отношеній между отдѣльными воспріятіями и дѣлать эти отношенія предметами новыхъ мыслей“. Въ недавнее время тщательному изслѣдованію подверглась психическая жизнь одной изъ самыхъ умныхъ птицъ, курицы. Долгое пребываніе въ обществѣ человѣка, несомнѣнно, воспитательнымъ образомъ дѣйствуетъ на умственные способности животнаго, освобождая въ немъ ту нервную энергію, которая тратилась на добываніе пищи и самозащиту, и направляя ее на образованіе новыхъ ассоціацій „культурной жизни“. Поэтому, изученіе духовнаго склада такой *par excellence* домашней птицы, какой является съ незапамятныхъ временъ человѣчества курица (отсюда и убѣжденіе, что курица не птица), представляется особенно поучительнымъ. Два изслѣдователя, Катцъ и Ревесъ,²⁾ продолжали надъ ней рядъ опытовъ, чтобы убѣдиться, насколько сильна память у куръ. Они брали 20 рисовыхъ зеренъ, которыя курица предпочитаетъ пшеничнымъ, и приклеивали ихъ къ листу коричневой бумаги, между рисомъ были раски-

¹⁾ О подражательности у животныхъ см. статью В. А. Вагнера „Общественность у животныхъ и человѣка“ въ журналѣ „Природа“ за 1912 г.

²⁾ D-Katz и G. Révész. Experimentell psychologische Untersuchungen mit Hühnern. Zeitschrift für Psychologie. Band 50. 1908.

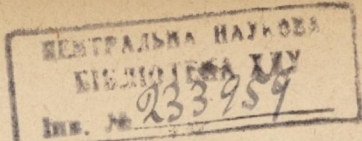
даны 10 зеренъ пшеницы. Пущенная курица хватала прежде всего рисинки, но, убѣждаясь, что всѣ онѣ приклеены, переходила къ пшеницѣ. Черезъ нѣкоторый промежутокъ времени та же курица совершала уже меньше ошибокъ при отличеніи риса отъ пшеницы, дѣлала уже меньше бесполезныхъ клевковъ, пока наконецъ не достигала полного совершенства, т. е. совершенно оставляла рисъ безъ вниманія и, клюнувъ 10 разъ, получала десять зеренъ пшеницы. Опыты производились надъ 7 курами. Эти опыты обнаружили, во-первыхъ, различныя способности запоминанія у разныхъ экземпляровъ: въ то время, какъ одна при опытахъ, производившихся съ промежуткомъ въ 15 секундъ, лишь на шестой разъ научилась хорошо различать между рисомъ и пшеницей и связала съ зернами первого опредѣленной ассоціаціи, вторая при паузахъ въ 30 минутъ достигла этого умѣнія ориентироваться уже на третій разъ, третья же при паузахъ въ цѣлыя сутки прогрессировала въ приобрѣтеніи этого знанія чрезвычайно быстро: въ первый разъ она клонула 52 раза, чтобы сѣсть 10 зеренъ пшеницы, во второй всего 25, въ третій 16 и въ четвертый уже съ полной правильностью только 10. Исслѣдователи пришли къ выводу, что человѣкъ въ этомъ опытѣ проявилъ бы менѣе блестящіе результаты, чѣмъ курица. Затѣмъ былъ поставленъ другой вопросъ: насколько тверды впечатлѣнія у куръ. Выводъ получился слѣдующій: „Послѣ извѣстнаго времени приобрѣтенное знаніе настолько утрачиваетъ свое дѣйствіе, что уже не оказываетъ вліянія на дѣятельность курицы. Но слѣды его все-таки сохраняются“. Такъ, одна изъ куръ, спустя 4 недѣли послѣ первыхъ опытовъ, сдѣлала лишь ничтожную ошибку при выклеиваніи зеренъ пшеницы, другая и послѣ 6 недѣль потребовала меньше усилій для того, чтобы возобновить въ своей памяти различіе между зернами. Но опытъ разрушался, если въ дѣло вступалъ инстинктъ птицы: курица инстинктивно хватается то, что летитъ и падаетъ передъ ней, и если это были зерна риса, мимо которыхъ она проходила равнодушно въ опытѣ, она хватала и ихъ. Если же ей давали непріклеенныя рисинки и пшеницу, то она начинала хватать при этихъ условіяхъ и то, и другое, но потомъ первое знаніе въ дальнѣйшихъ опытахъ брало верхъ надъ позже приобрѣтеннымъ. Дѣлались опыты и надъ различеніемъ направленій и массъ курами; такъ, производились любопытныя наблюденія надъ способностью этихъ птицъ къ „счету“: два зерна были приклеены, третье оставалось свободнымъ. Послѣ нѣсколькихъ опытовъ куры научились „считать“ черезъ два, тогда какъ ребенокъ обнаружилъ соответствующую способность только на пятомъ году. Уже этотъ фактъ (въ названной статьѣ ихъ нѣсколько) указываетъ на глубокое различіе въ психикѣ птицы и человѣка; четырехлѣтній ребенокъ, который сбивался, вынимая игральныя марки черезъ двѣ, умѣлъ уже, конечно, говорить и оперировать съ цѣлымъ рядомъ собственныхъ сужденій, ошибался же онъ въ усвоенныхъ знаніяхъ именно вслѣдствіе вмѣ-

пательства мысли въ прибрѣтенные навыки и т. д., тогда какъ курица, такъ удивительно ориентировавшаяся въ счетѣ, руководилась просто несложными зрительными ассоціями: „на основаніи частаго повторенія зѣрна, которыя стоило клевать, ассоціируются съ извѣстнымъ разстояніемъ, отдѣляющимъ ихъ одно отъ другого, а отчасти съ ихъ положеніемъ на землѣ. Относительно другого фактора, который можетъ играть роль при нахожденіи годныхъ зеренъ, даетъ указанія слѣдующій опытъ. Если въ какомъ-нибудь мѣстѣ въ ряду прикрѣпленныхъ рисинокъ лежитъ одно свободное рисовое зерно среди двухъ прикрѣпленныхъ, то оно сейчасъ же выклеивается. Такимъ образомъ, курица, повидимому, замѣчаетъ мѣста, гдѣ зерна лежатъ болѣе густо“. Руководится птица въ этой операциі, которая не выходитъ изъ предѣловъ ея обычнѣйшаго занятія собиранія зеренъ, своимъ развитымъ зрѣніемъ. Можно думать, что именно потому, что въ поискахъ пищи птица руководится не обоняніемъ, не слухомъ, а только зрѣніемъ, выработались материнскіе инстинкты клекта, со-зывающаго цыплятъ на извѣстное мѣсто, гдѣ курица видитъ свою пищу. Этотъ призывъ матери птенцы понимаютъ немедленно послѣ того, какъ вылупились изъ яйца, а иногда еще и раньше, въ самомъ яйцѣ. Слѣдовательно, природа какъ куриного призыва, такъ и пониманія его цыплятами основана на инстинктѣ. Въ усвоеніи курицей новыхъ знаній, не выходящихъ однако за предѣлы ея обычной инстинктивной дѣятельности, обнаруживается та же пропасть при сравненіи съ человѣкомъ, что и въ психикѣ какого-нибудь насѣкомаго. И про крики нашихъ домашнихъ птицъ, конечно, нельзя говорить, какъ о „языкѣ“. Оставляя пока въ сторонѣ попугаевъ, можно сказать, что именно самыя „умныя“ птицы не склонны къ пѣнію. Такова, напр. кукушка, крикъ которой такъ однообразенъ и элементаренъ. Кукушка единственная изъ птицъ нашихъ лѣсовъ, которая пожираетъ волосатыхъ гусеницъ. Ея дѣятельность благотельна для лѣсовъ, которымъ иначе грозило бы обезлистенье, но для выполненія ея кукушка должна быть свободна, а между тѣмъ лѣтніе мѣсяцы, когда нормальная птица должна сидѣть на яйцахъ, являются временемъ усиленной пожирательной работы этихъ гусеницъ.¹⁾ Вотъ кукушка и подкидываетъ свои яйца другимъ птицамъ (какъ бы въ интересахъ общаго дѣла, сохраненія лѣсовъ), а сама занимается спасеніемъ лѣсовъ отъ вредныхъ гусеницъ. Вылупившійся изъ яйца кукушонокъ также проявляетъ большую заботливость о сохраненіи своего рода: пользуясь углубленіемъ въ своей спинѣ, онъ вкладываетъ въ него другія яйца или даже птенцовъ, подноситъ ихъ къ краю гнѣзда и выбрасываетъ вонъ. Казалось бы, при такой сообразительности кукушка должна была бы говорить, но ей-то какъ разъ и не для чего говорить, такъ какъ о своихъ дѣлахъ кукушка не заботится. Еще

¹⁾ См. классическое сочиненіе о жизни птицъ *B. Altum. Der Vogel und sein Leben.* цит. по 7 изд. (1903), стр. 178.

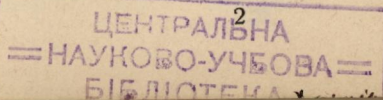
бѣднѣе „рѣчь“ вороны, хотя эта птица обладает большой способностью къ ассоціаціямъ и обладает острымъ чутьемъ. Съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ взглянуть и на птичье пѣнье. Какъ извѣстно, народная словесность связываетъ со многими птичьими криками извѣстныя фразы, слова, въ былое же время составлялись цѣлые словари птичьихъ „говоровъ“.

„Всякое пѣніе птицы есть крикъ спариванія (Paarungsruf)“, утверждаетъ Альтумъ. Поэтому взрослая птица поетъ „полную пѣсню“. Но эту пѣсню, говоритъ изслѣдователь, не слѣдуетъ понимать по человѣчески; она совпадаетъ съ физическимъ половымъ развитіемъ въ различныя времена года, и потому молодая птица начинаетъ напѣвать, „учится“ пѣть. И это ученіе опять таки не есть человѣческое ученіе, связанное съ повтореніями, самопровѣркой, воспоминаніемъ. Птица же, „до тѣхъ поръ, пока она продолжаетъ учиться, является еще не способной къ размноженію, необходимые органы еще не получили должнаго развитія, какъ въ достаточной мѣрѣ убѣдилъ меня анатомическій ножъ; половое развитіе идетъ параллельно со степенью способности и усердія къ пѣнію“ (Altum. 83). Въ подтвержденіе того, что пѣніе птицы есть не что иное, какъ „выраженіе половой жизни“ (eine sexuelle Lebensäusserung) ея, Альтумъ приводитъ слѣдующія доказательства: какъ только птица становится способна къ размноженію, и сколько разъ въ годъ это ни повторяется, она начинаетъ пѣть. Съ другой же стороны, за исключеніемъ времени размноженія, птица не поетъ. И по временамъ года пѣніе чрезвычайно сильно варьируется. Въ концѣ іюня пересмѣшникъ, жаворонокъ, дроздъ поютъ, но какъ отличается ихъ пѣніе отъ весенняго, замѣчаетъ Альтумъ. „Болѣе позднее пѣніе уже не такъ пламенно, полно и живо: оно сдѣлалось блѣднѣе и хуже. Мы говорили о такъ наз. періодѣ обученія. Казалось бы, можно думать, что птица въ достаточной мѣрѣ обучилась. Разсуждая по человѣчески, слѣдовало бы ожидать, что птица тѣмъ лучше и свободнѣе будетъ исполнять свою пѣсенку, чѣмъ больше она въ ней упражнялась. Вѣдь повтореніе—матъ ученія. Здѣсь мы находимъ, однако, противоположное; виртуозъ начинаетъ спотыкаться, и если мы прислушаемся къ нему еще черезъ нѣсколько недѣль, то недостатки станутъ еще болѣе отчетливыми. Уже при второмъ спариваніи пѣснѣ не достаетъ изящества и металлической тона, звукъ уже не имѣетъ прежней нѣжности, мелодія становится не такъ мила. Для тонкаго уха различіе очень явственно. При позднѣйшихъ спариваніяхъ пѣніе, вообще говоря, все болѣе падаетъ“. Что касается цѣлей, которыя природа вложила въ птичье пѣнье, то онѣ заключаются, во-первыхъ, въ разграниченіи извѣстныхъ пространствъ, необходимыхъ для питанія каждой пары, а во-вторыхъ въ привлеченіи парныхъ птицъ одна къ другой. До какой степени, при этомъ, пѣніе не является выраженіемъ сознательнаго радостнаго или влюбленнаго чувства птицы, видно изъ того, что борьба самцовъ изъ-за самки начинается



очень часто подь аккомпаниментъ ихъ собственнаго пѣнія и ведется съ прерывистой пѣсню. Однажды ручной красношейкѣ—самцу показали ея собственное изображеніе въ зеркалѣ; она сейчасъ же заплѣла и бросилась на своего мнимаго соперника. Самецъ, обращенный въ бѣгство, поетъ иногда даже въ то время, когда скрывается отъ побѣдителя. Этими общими замѣчаніями можно ограничиться для характеристики птичьяго пѣнія. Очевидно, оно не имѣетъ ничего общаго съ человѣческой рѣчью. Когда весной просыпается половое чувство птицы, у нея появляется брачное оперенье, которое не зависитъ ни отъ ея сознанія, ни отъ воли. И какъ это оперенье, такъ же помимо желанія и сознанія птицы появляется у нея даръ пѣнія, и чѣмъ сильнѣе возбужденіе, тѣмъ лучше самая пѣсня. Какъ разряженіе накопившейся въ избыткѣ нервной энергіи, это инстинктивное пѣніе должно доставлять птицѣ удовольствіе, но поетъ она не ради удовольствія, какъ и кричитъ при видѣ ястреба не для того, чтобы показать свои страхи, а потому, что возбужденіе въ числѣ другихъ реакцій вызываетъ и крикъ.

Есть, однако, говорящія птицы. Не является-ли, напр., „рѣчь“ попугая предварительной ступеню, на которой стояла когда-то человѣческая? не можетъ-ли попугай усовершенствовать свой даръ рѣчи до того, чтобы заговорить? Одинъ попугай слышалъ, какъ дворовую собаку называли Коко, и вотъ этимъ именемъ онъ сталъ называть всякую собаку (*O. Flügel. Das Seelenleben der Tiere. 3 изд. 1897*). Слѣдовательно, въ его сознаніи совершился тотъ же самый процессъ, который заставляетъ насъ называть словомъ *собака* всякую собаку, а не только именно эту, которую мы видимъ передъ собой. Какъ бы ни квалифицировать то представление о собакѣ, которое сложилось въ сознаніи птицы, во всякомъ случаѣ, здѣсь произошло соединеніе зрительнаго образа со словомъ, т. е. въ конечномъ своемъ результатѣ получилось нѣчто человѣческое. Но, по существу, мы имѣемъ здѣсь нѣчто совсѣмъ непохожее на человѣческія слова. Попугай увидѣлъ собаку, которая прибѣгала на крикъ: Коко. Онъ воспринялъ и этотъ крикъ, и образъ животнаго. Сходные образы вызывали у него ту же самую реакцію, т. е. именно этотъ крикъ Коко. Название собаки онъ воспринялъ при своемъ инстинктѣ подражанія звукамъ такъ же механически, какъ и другіе звуки. Рассказываютъ, что при видѣ кошки попугай начинаетъ мяукать, при видѣ собаки лаять и т. п. Онъ будто бы сознательно дразнить этихъ животныхъ, тогда какъ въ дѣйствительности мы имѣемъ здѣсь ассоціацію зрительныхъ и слуховыхъ образовъ, которая съ повелительной силой вызываетъ подражаніе мяуканію и лаю. Языкъ человѣка состоитъ и долженъ былъ состоять уже на первыхъ порахъ своего развитія не изъ однихъ названій, но изъ сочетанія названій, и вотъ на это послѣднее попугай уже совершенно не способенъ. Мяуканіе, лаеніе, скрипъ колеса, человѣческое слово чередуются въ безсвязномъ выкрикиваніи попугая, но самое выкрикиваніе доставляетъ ему



удовольствіе, являясь выраженіемъ желанія кричать и руководясь какими-то ассоціаціями. Въ своемъ развитіи „рѣчь“ попугая, повидимому, уже выходитъ изъ области того элементарнаго инстинкта, о которомъ говоритъ Альтумъ. Тѣмъ не менѣе, не замѣчено, чтобы попугай пріобрѣталъ свое умѣніе говорить съ возрастомъ, чтобы онъ учился, накапливалъ свой „словарь“ и т. д. Онъ подражаетъ такъ же сразу, какъ сразу бросается въ воду и плыветъ вылупившійся утенокъ. Такимъ образомъ, даже въ самомъ созданіи своего словаря попугай отличается отъ ребенка: въ послѣднемъ случаѣ мы видимъ сознательное и потому несовершенно подражаніе, сначала пониманіе, потомъ подражаніе; здѣсь, напротивъ, только удачное воспроизведеніе заимствованныхъ словъ и звуковъ. Съ этимъ багажомъ духовная жизнь птицы не обогащается нисколько, какъ мы, зная нѣсколько иностранныхъ словъ и не понимая своего родного языка, не смогли бы пріобрѣсти ровно ничего отъ своего знакомства съ нѣсколькими разрозненными чужими словами. Можно опредѣлить это различіе между рѣчью ребенка и „рѣчью“ попугая или другой говорящей птицы, какъ различіе между творческимъ актомъ и чисто механическимъ повтореніемъ заложенныхъ звуковъ. Въ этомъ отношеніи крикъ попугая ближе къ пѣснямъ граммофона, чѣмъ къ лепетанію ребенка; поэтому, все одинаково выкрикиваетъ попугай запомнившееся ему слово или звукъ. Но ближе къ человѣку рѣчь попугая въ томъ смыслѣ, что она показываетъ, какъ при инстинктѣ звукоподражанія и при инстинктивномъ разряженіи энергіи въ формѣ звуковъ можетъ образоваться зародышъ чловѣческаго слова въ видѣ твердой ассоціаціи зрительнаго и слухового образовъ. Дальше этого, конечно, не идетъ „рѣчь“ попугая, скворца или другой говорящей птицы.

Перейдемъ къ животнымъ млекопитающимъ, духовная жизнь которыхъ въ послѣдніе годы стала изучаться также экспериментальнымъ путемъ. Въ настоящее время существуетъ уже очень значительная литература по этому вопросу, который заслуживаетъ со стороны психологовъ величайшаго вниманія. Съ методами и результатами этой экспериментальной науки слѣдуетъ быть знакомымъ и тому, кто хочетъ понять языкъ, какъ творчество. Благодаря прекраснымъ обзорамъ литературы въ современныхъ философскихъ журналахъ, эта задача значительно облегчается.¹⁾ Однако, прежде чѣмъ остановиться на этомъ предметѣ подробнѣе, необходимо отмѣтить нѣкоторые выводы прежнихъ изслѣдователей, разрушившихъ представленія о какомъ-то необыкновенномъ умѣ животныхъ. Кому не извѣстны рассказы о старой кавалерійской лошади, которая начинаетъ „танцовать“ при звукахъ военной музыки и т. д. Цѣлое учрежденіе (die

¹⁾ Такъ, укажу на „Sammelbericht über Tierpsychologie“ von Dr. Max Ettlenger (wichtigere Specialarbeiten seit 1907). Zeitschrift für Psychologie. т. 56. 1910.

zoologische und botanische Abteilung für Westphalen und Lippe) занялось опытами надъ слухомъ лошадей и пришло къ убѣжденію, что эти рассказы представляютъ вымыселъ. „Законченныя теперь изслѣдованія, говорится въ отчетѣ этого учрежденія (Flügel 50—51): изслѣдованія о музыкальномъ слухѣ лошадей показали, что лошади обладаютъ чрезвычайно слабой восприимчивостью къ музыкѣ, такту и военнымъ сигналамъ. Испытанія, поставленныя секціей, обнаружили самымъ очевиднымъ образомъ, что лошадямъ всякое понятіе о тактѣ чуждо, и что, напр., въ циркѣ не столько онѣ танцуютъ и скачутъ въ тактъ музыки, сколько, наоборотъ, музыка примѣняется къ такту ихъ шаговъ. Другія изслѣдованія свидѣтельствуютъ о томъ, что военные лошади не понимаютъ сигналовъ трубы. Только всадникъ или раздражительный инстинктъ лошади заставляютъ ее совершать движенія, которыхъ требуетъ сигналъ; когда лошадь, даже наилучшимъ образомъ вышколенная, слышитъ сигналъ, она остается совершенно безучастной къ нему; то же самое происходитъ, когда трубный сигналъ слышитъ цѣлый отрядъ кавалерійскихъ лошадей безъ всадниковъ“. Благодаря устойчивости зрительныхъ ассоціацій, лошадь легко дрессируется, и это производитъ впечатлѣніе исключительнаго ума, присущаго этому животному. Такъ, въ послѣднее время много толковъ вызвала необыкновенная умная лошадь „Разумный Гансъ“ (der kluge Hans), которая будто бы производила ариѳметическія дѣйствія. Гансъ былъ подверженъ изслѣдованію со стороны О. Пфунгста и профессора Штумпфа¹⁾, который резюмировалъ свои наблюденія въ слѣдующихъ словахъ: „Лошадь, способная правильно производить ариѳметическія дѣйствія. Люди безспорной честности, которые получали отвѣты отъ животного, въ присутствіи его хозяина, и которые увѣряютъ, что не было никакого мошенничества. Тысячи зрителей, присутствовавшихъ въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ на представленіяхъ, которыя давалъ Фонъ-Остенъ, не замѣтивъ никакого сообщенія между животнымъ и его хозяиномъ. Такова была задача, а ключъ къ ней: не замѣтивъ совсѣмъ мелкихъ произвольныхъ движеній“. Гансъ складывалъ, вычиталъ, т. е. кивалъ головой, стучалъ копытомъ нужное число разъ. Онъ читалъ, т. е. показывалъ на большой таблицѣ слово, которое читали передъ нимъ и т. д. Но всѣ эти вещи лошадь продѣлывала правильно лишь тогда, когда экспериментаторъ зналъ отвѣтъ; въ противномъ случаѣ, Гансъ оставался самой обыкновенной лошадыо, не обнаруживая никакого смущенія отъ нерѣшенной задачи, видимо не понимая, чего отъ него хотятъ. Отвѣтъ подсказывался лошади экспериментаторомъ, который зналъ его. Произвольный жестъ, движеніе глазъ въ извѣстномъ направленіи и т. под. подсказывали умному Гансу, куда повернуть голову, какъ реагировать на вопросъ, значенія котораго лошадь, конечно, не понимала.

¹⁾ О. Pfungst. Das Pferd des Herrn von Osten (Der kluge Hans). Mit einer Einleitung von Prof. Dr. v. Stumpf. 1907.

Удаленная от такого соприкосновенія съ хозяиномъ или изслѣдователемъ, лошадь теряла всѣ свои удивительныя способности. Такимъ образомъ, дѣло заключалось только въ дрессировкѣ, которая была основана въ данномъ случаѣ на чрезвычайно остромъ, вообще, у лошадей зрѣніи. Дрессировка установила постоянную связь между извѣстными движеніями чловѣка, стоящаго передъ лошадью, и ея собственной реакціей на него также въ видѣ движенія. Такъ, при счетѣ три экспериментаторъ трижды качалъ головой, и за нимъ то же самое продѣлывалъ Гансъ. Какъ извѣстно, дрессировка воспитываетъ у животнаго такія прочныя ассоціаціи, которыя заставляютъ его исполнять выученное и тогда, когда въ этомъ нѣтъ никакой надобности. Собака, научившись дѣлать сальтомортале черезъ палку, прыгаетъ назадъ, когда это не надо; осель, научившись кивать головой въ тактъ музыкѣ, мѣрно качаетъ головой въ своемъ стойлѣ, хотя на него никто не смотритъ. Все это лежитъ въ природѣ животной безсознательности: животное выучило то или другое, но не сознаетъ, для чего оно выучило, и что дѣлать съ выученнымъ, и на той же ступени развитія остался, конечно, и умный Гансъ, будто бы умѣвшій читать, складывать и вычитать. То же самое слѣдуетъ сказать и про другое „умнѣйшее“ животное, находящееся въ постоянномъ общеніи съ чловѣкомъ, про слона. Даже Бремъ, на которомъ лежитъ тяжкій грѣхъ распространенія массы антропоморфическихъ небылицъ въ обществѣ, пишетъ по этому поводу слѣдующее: „Люди, мало знакомые съ характеромъ слоновъ, нерѣдко готовы видѣть въ ихъ дѣйствіяхъ послѣдствія самостоятельнаго обдумыванія, тогда какъ, въ дѣйствительности, животныя исполняютъ только то, что приказываютъ имъ вожаки. Едва ли между конемъ и всадникомъ существуетъ болѣе тонкое пониманіе, чѣмъ между слономъ и его вожакомъ, сидящимъ на его затылкѣ. Выдающейся чертой въ характерѣ ручного слона является именно его послушаніе, и онъ исполняетъ многое по самому ничтожному знаку своего вожака, дѣйствія котораго совершенно незамѣтны для того, кто не посвященъ въ тайны дрессировки“. Такимъ образомъ, и здѣсь передъ нами та же легкость и устойчивость ассоціацій, дрессировка, воспитаніе животнаго съ помощью искусственныхъ мѣръ. Но эти ассоціаціи возможны лишь въ той области, которая соотвѣтствуетъ ограниченности животнаго „разума“. Можно приучить животное реагировать поступками на извѣстныя приказанія, т. е. установить связь между его волей и зрительными или слуховыми образами, осязательными воспріятіями и т. д. Какъ выражается въ своемъ изслѣдованіи о животномъ умѣ Вэшбернъ, „въ то время какъ идеи, вѣроятно, уже имѣются въ извѣстной степени въ умѣ высшихъ млекопитающихъ, онѣ еще такъ тѣсно связаны съ внѣшними побужденіями, что животное оказывается не въ состояніи отдѣлить чувственный

міръ (внѣшній міръ) отъ своего сознанія и жить въ мірѣ идей“¹⁾. Внѣ выученныхъ ассоціацій животное остается совершенно безпомощнымъ (поскольку не отдастъ опять-таки своихъ приказаній инстинктъ). Оно оказывается не въ состояніи примѣнить самостоятельно свои пріобрѣтенныя знанія въ новой области, даже не пытается сдѣлать это, потому что цѣль поступковъ, совершаемыхъ имъ вслѣдствіе дрессировки, остается для него неясна, потому что животное не мыслить, не разсуждаетъ. Безъ языка не существуетъ мышленія. Для испытанія сообразительности нашихъ домашнихъ животныхъ былъ совершенъ рядъ опытовъ американскимъ ученымъ Thorndike,²⁾ который поставилъ для своихъ изслѣдованій три вопроса: что дѣлають наблюдаемые животныя, какъ они это дѣлають, что они чувствуютъ во время данной дѣятельности? Предметомъ своего наблюденія онъ дѣлалъ собакъ, кошекъ и цыплятъ, которые въ продолженіе извѣстнаго времени не получали пищи и сильно голодные помѣщались въ клѣтку. Одна изъ стѣнокъ этой послѣдней состояла изъ рѣшетки, въ которой была сдѣлана дверка. Дверка открывалась съ помощью различныхъ приспособленій: задвижки, веревки, за которую нужно было дернуть, даже платформы, на которую слѣдовало вскочить. За клѣткой лежала пища, заставлявшая голодное животное искать выхода изъ своего помѣщенія. Слѣдовало установить ассоціаціи, совершенно новыя для животнаго, при томъ оно должно было дойти до нихъ самостоятельно, хотя дѣйствія, которыя должно было совершить испытываемое животное, не выходили изъ области его привычной дѣятельности. Опыты производились надъ 13 кошками и тремя собаками. Поведеніе животнаго, посаженнаго въ клѣтку въ первый разъ, было обыкновенно бурно: оно высовывало лапки сквозь прутья рѣшетки, старалось перекусить ихъ и т. п. Потомъ случайно находился выходъ, и животное съ радостью освобождалось. Посажнное вторично въ ту же клѣтку, оно сразу хваталось за тотъ способъ выхода, который далъ ему свободу въ первый разъ; посаженное въ другую клѣтку, оно уже не такъ пугалось и не рвалось наружу, но искало того способа освобожденія, что и въ первой клѣткѣ. Такъ, кошка, которой потребовалось 160 секундъ, чтобы найти выходъ сначала, въ концѣ концовъ освобождалась уже черезъ 5 секундъ. При этомъ обнаружилось, что успѣшность дѣйствій животнаго находится въ зависимости отъ его наслѣдственности, отъ богатства его опыта, отъ вниманія, съ которымъ оно относится къ своимъ дѣйствіямъ. Такимъ образомъ, это уже цѣлесообразная сознательная дѣятельность,

¹⁾ M. F. Washburn. The Animal Mind. 1909, стр. 294 (съ богатой библиографіей).

²⁾ E. L. Thorndike. Animal Intelligence. An experimentstudy of the associative process in animals. Series of monograph supplements of Psychological Review. 1898. Опыты Торндайка изложены и провѣрены французскими учеными N. Vaschide и P. Rousseau. См. ихъ статьи La vie mentale des animaux въ Revue Scientifique. 1903.

направленная волей. Однако, даже въ томъ случаѣ, когда животное проявляетъ спокойствіе, необходимое для сосредоточенія вниманія, оно не *изыскиваетъ* средства освобожденія, не *пробуетъ* того или другого способа выйти, но случайно и слѣпо *натывается* на выходъ, и тогда устанавливается ассоціація между этимъ послѣднимъ и опредѣленнымъ дѣйствиємъ. Но сначала эта ассоціація очень слаба: если для нахождения выхода изъ клѣтки кошкѣ понадобилось въ первый разъ 160 секундъ, то во второй разъ число секундъ равнялось 130, потомъ 90, 60, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5. Эти цифры показываютъ, какъ еще силенъ элементъ случайности сначала, какъ медленно устанавливаются прочныя ассоціаціи. Поведеніе собаки довольно сильно отличалось отъ кошачьяго. „Собака, посаженная въ одну изъ клѣтокъ, обнаруживаетъ менѣе усилій выйти, чѣмъ котенокъ; даже тогда, когда она испытала прелесть ѣды и уже нѣсколько разъ выбралась изъ клѣтки, она не проявляетъ такого усердія въ исканіи свободы, какъ кошка молодая или старая. Она царапаетъ или кусаетъ прутья, она старается протиснуться между ними; но, убѣдившись въ бесплодности своихъ усилій, она скорѣе отказывается отъ нихъ. Впрочемъ, ея вниманіе устремлено на пищу, а не на тотъ фактъ, что она сама находится въ клѣткѣ. Она стремится къ пищѣ, а вовсе не къ тому, чтобы выбраться изъ заключенія“. Что касается цыплятъ, опыты съ которыми были поставлены нѣсколько иначе, то они проявили меньшую способность къ образованію ассоціацій, чѣмъ кошки и собаки, но, въ общемъ, ихъ поведеніе не отличалось отъ поведенія другихъ изслѣдуемыхъ животныхъ. Торндайкъ отказывается установить градацію для опредѣленія относительнаго ума кошки, собаки и курицы, что представляетъ особенный интересъ послѣ того, какъ экспериментальнымъ образомъ была изслѣдована психическая жизнь куръ (см. выше). Однако, онъ все-таки полагаетъ возможнымъ утверждать, что изъ этихъ трехъ животныхъ цыпленокъ стоитъ всѣхъ ниже, и собака всѣхъ выше. Затѣмъ тотъ же изслѣдователь поставилъ рядъ опытовъ для испытанія способности животныхъ подражать виѣ инстинктивной области ихъ поведенія. Торндайкъ утверждаетъ, — и это, несомнѣнно, отвѣчаетъ природѣ инстинкта, — что подражаніе птицъ въ области звуковой не можетъ быть сопоставлено съ подражательной дѣятельностью млекопитающихъ, и эти послѣднія повинуются также инстинкту, подражая въ стадѣ дѣйствіямъ вожаковъ. Такимъ образомъ, рѣчь шла о подражательности сознательной, какъ у человѣка. Два цыпленка были посажены въ клѣтку, изъ которой выходъ шелъ черезъ дыру. Одинъ изъ цыплятъ уже зналъ этотъ способъ освобожденія, другой нѣтъ. И вотъ неученный потребовалъ почти 10 минутъ, чтобы найти выходъ, тогда какъ ученый за это самое время 9 разъ проскользнулъ въ дыру, при чемъ нѣсколько разъ другой цыпленокъ смотрѣлъ на это. Ни одинъ изъ многихъ опытовъ, произведенныхъ съ цып-

лятами, не обнаружилъ у нихъ способности узнавать новое съ помощью наблюденія за дѣйствіями другихъ. Такъ же привели къ полной неудачѣ опыты съ подражательностью у кошекъ и собакъ. Всѣ эти животныя оказались „неспособны создать ассоціацію, ведущую къ поступку, руководясь только наблюденіемъ за однимъ или нѣсколькими себѣ подобными, совершившими этотъ поступокъ въ опредѣленныхъ условіяхъ. Животныя не только не образуютъ ассоціацій, которыя сопровождаютъ, модифицируютъ или болѣе или менѣе видоизмѣняютъ опытъ и сужденіе, но они совсѣмъ не обладаютъ ассоціаціями, которыя смогутъ быть приобрѣтены отъ другихъ животныхъ съ помощью подражанія“. По мнѣнію американскаго изслѣдователя, подражательная способность находится въ особенно рудиментарномъ состояніи у высшихъ млекопитающихъ животныхъ. На основаніи этихъ опытовъ, Thorndike полагаетъ, что способности къ образованію ассоціацій у животного и человѣка представляютъ явленія несравнимыя. „Психическій міръ (intellection) животного состоитъ изъ суммы спеціальныхъ ассоціацій, которыя служатъ непосредственно практическимъ цѣлямъ“. Этотъ „разумъ“ животного можно сравнить съ сознаниемъ, образуемымъ ассоціаціями, которыя руководятъ поведеніемъ играющаго въ лаунъ-теннисъ. „Основное явленіе, наличность котораго я нахожу въ сознаниі животного, говоритъ Thorndike, заключается, съ одной стороны, въ наслѣдственности установившихся соединеній образовъ и рефлексовъ, которые соединяются, конечно, со множествомъ явленій въ жизни животного, а съ другой стороны въ томъ фактѣ, что наша умственная жизнь развилась, какъ нѣчто посредствующее между возбужденіями и реакціями“. Таковы были эти опыты Торндайка, которые положили основаніе цѣлой отрасли экспериментальной психологій животныхъ, разрабатываемой, по преимуществу, въ Америкѣ. Задача этой науки заключается въ изученіи не того, что животное дѣлаетъ, но того, что оно способно дѣлать. И въ этой постановкѣ вопроса лежитъ и нѣкоторая опасность экспериментации: не слѣдуетъ при опытахъ ставить животное въ такое мучительное положеніе, въ какое ставилъ его названный американскій изслѣдователь, заставляя животное голодать по цѣлымъ суткамъ. Естественно, что пища, лежавшая за кѣткой, такъ поглощала вниманіе животного, что оно въ этихъ условіяхъ оказывалось *неспособнымъ* дѣлать то, что оно могло бы совершить въ нормальныхъ отношеніяхъ. И самый выборъ опытовъ иногда какъ бы заранѣе предвидѣлъ отвѣтъ.

Въ 1902 г. появилась работа, посвященная психологій обезьянъ ¹⁾. Для опыта были взяты двѣ обезьяны изъ породы макакъ, которыя въ

¹⁾ A. I. Kinnaman. Mental Life of two Macacus Rhesus Monkeys in captivity. Americ. Journ of Psych. XIII. 1902. Рефератъ Э. Клапареда въ Année psychol. 1903. Ср. также S. Bohn. L'Acquisition de habitudes chez les animaux. Année Psychol. 1907.

невольт не обнаруживаютъ такихъ явленій отупѣнія, какъ другія обезьяны. Это были самецъ 8 мѣсяцевъ и самка 12 мѣсяцевъ. Опыты Киннэ-мана производились по тому же шаблону, что и у Торндайка, т. е. брался ящикъ, который раскрывался съ помощью различныхъ приспособленій, задвижки, пуговицы, которую надо было надавить, петли, крючка, засова и т. п. Обыкновенно, ассоціаціи устанавливались у обезьяны очень скоро, но при этомъ наблюдались такія колебанія во времени разрѣшенія требовавшейся задачи, которыя могутъ быть объяснены только бессознательностью, съ какой совершался ею удачный актъ.

Если бы животное сознавало, *какъ* раскрывается клѣтка, и затѣмъ, раскрывая ее, дѣйствовало съ сознаніемъ цѣлесообразности своихъ поступковъ, конечно, не было бы возможно, чтобы на раскрытіе клѣтки съ помощью крючка она употребила въ первый разъ 65 секундъ, въ третій разъ 3 секунды, въ пятый 2 секунды, а въ шестой 40, въ девятый 67 секундъ, т. е. больше, чѣмъ въ первый разъ, и т. д. То же самое—и съ засовомъ: въ первый разъ обезьяна справилась съ нимъ въ 125 секундъ, а во второй только въ 266 секундъ. Въ общемъ, однако, устанавливались ассоціаціи прочныя, которыя доводили до минимума время, нужное для выхода изъ клѣтки. Но источникомъ ихъ былъ случай. Слѣдовало установить возможность ассоціацій въ болѣе сложныхъ условіяхъ. Для этого американскій изслѣдователь пробовалъ установить связь между пищей и какимъ-нибудь зрительнымъ впечатлѣніемъ. Обезьянѣ показывали черную карту: это должно было означать, что въ ящикѣ положенъ кормъ, что его стоитъ раскрыть; бѣлая карточка означала противоположное. Было сдѣлано 300 опытовъ, и не обнаружилось въ сознаніи животного никакой связи между зрительнымъ впечатлѣніемъ и его символическимъ значеніемъ. Повидимому, опытъ былъ слишкомъ труденъ. Лучшіе результаты получились, когда тотъ же опытъ былъ продѣланъ со стаканами: пустой былъ покрытъ бѣлой картой, наполненный—черной. Здѣсь карта играла роль символа. Точно также зеленый флагъ на желѣзнодорожной службѣ имѣетъ одно значеніе, красный—другое. И это символы, значеніе которыхъ устанавливается съ помощью словеснаго объясненія. Если бы намъ самимъ пришлось догадываться о значеніи того или другого символа, мы могли бы поступать двоякимъ образомъ: или установить съ помощью множества однородныхъ ассоціацій, исключивъ привходящіе случайные элементы, значеніе символа, т. е. приучиться ожидать вслѣдъ за опредѣленнымъ поражающимъ наше вниманіе знакомъ опредѣленныхъ впечатлѣній, или путемъ логическаго умозаключенія изъ двухъ (по крайней мѣрѣ) совпаденій знака съ результатомъ составить сужденіе о значеніи символа. Такъ, при взглядѣ на географическую черту, если мы знаемъ расположение горъ въ странѣ, мы поймемъ, что извѣстные штрихи должны означать горы, или что почтовая труба надъ линіей дороги означаетъ,

что это почтовая дорога и т. д. Но такой трудный символъ, какъ извѣстный цвѣтъ, самъ по себѣ ничего не значащій, требуетъ или растолкованія, или множества однородныхъ воспріятій.

И такъ, какъ былъ поставленъ этотъ опытъ съ обезьянами, онъ указываетъ на послѣдній источникъ ассоціацій, отрицая наличность какого-либо разсужденія у животнаго. А между тѣмъ слово есть именно символъ, и если бы въ области звуковой удалось достигнуть такого же результата, т. е. пониманія символа, какой былъ полученъ при установленіи зрительной ассоціаціи у животнаго, это означало бы, что обезьяна стала понимать *слово*. Но Киннэманъ утверждаетъ, что опыты не обнаружили у испытуемыхъ имъ обезьянъ способности разсуждать. Удача достигалась только счастливымъ случаемъ (*fortunate accident*). Для того, чтобы выяснить отношеніе обезьяны къ числу, брали доску въ 3 метра длиной, на которой, въ разстояніи 10 сантиметровъ одинъ отъ другого, располагали 21 флаконъ, обернутый въ бумагу. Лишь одинъ изъ нихъ заключалъ пищу, и обезьяна должна была найти его и при повторныхъ опытахъ находить также. При каждой серіи опытовъ, состоявшей изъ 30, флаконъ съ пищей ставился въ опредѣленномъ мѣстѣ. При этомъ оказалось, что постепенно обезьяна научилась болѣе или менѣе вѣрно находить мѣсто нужнаго ей флакона: такъ, при второй серіи опытовъ (т. е. 30—60 опытовъ съ начала) она 5 разъ схватила флаконъ съ пищей, который стоялъ четвертымъ въ ряду, при третьей также лишь 5, потомъ два раза по 6, въ шестой серіи сразу 9 разъ (изъ 30), въ седьмой, однако, уже меньше—8, потомъ число удачъ подымается до 12 и потомъ опять падаетъ до 10. Значеніе этихъ цифръ становится ясно, если посмотрѣть, сколько разъ та же обезьяна хватается во время этихъ опытовъ за иные флаконы. Всего за 270 опытовъ она выбрала флаконъ правильно 61 разъ, тогда какъ пятый, пустой флаконъ былъ ею схваченъ 86 разъ, шестой 50 разъ, а потомъ наступаетъ сразу сильное паденіе чиселъ. При дальнѣйшихъ опытахъ, послѣ четвертаго, обезьяна почти совсѣмъ не трогаетъ 7-го флакона. Въ первой серіи опытовъ она 25 разъ изъ 30 бралась за флаконы дальше 7-го, во второй серіи уже только 7 разъ, а дальше или ни разу, или по одному разу. Такимъ образомъ, наблюдалась варіація между 4, 5 и 6-ымъ флаконами, и числа, приведенныя американскимъ изслѣдователемъ, указываютъ вовсе не на то, что обезьяна запомнила номеръ флакона съ пищей и, стало быть, обнаружила способность отвлеченнаго мышленія, а лишь на то, что она стала ориентироваться въ пространственномъ положеніи, которое принадлежит флакону на доскѣ. Если бы она умѣла говорить, она сказала бы: „вотъ гдѣ-то въ этомъ мѣстѣ стоитъ флаконъ съ пищей“. Вѣдь въ 9-ой серіи опытовъ (т. е. 240—270) она все еще нужный флаконъ взяла 10 разъ, а ненужный пятый—12. Это совершенно такая же способность ассоціировать два зрительныя впечатлѣнія, какую обнаружила и курица въ изложен-

ныхъ выше опытахъ, тѣмъ болѣе, что и самые флаконы имѣли различную форму. Къ этой ориентации въ пространствѣ обезьяна обнаружила, вообще, большую склонность и способность. Будучи посажена въ „лабиринтъ“, довольно сложное построение котораго открывало ей лишь одинъ способъ добраться до середины, гдѣ находилась пища, обезьяна (самецъ) въ течение 12 минутъ въ первый разъ достигла цѣли, а послѣ 113 опытовъ уже безошибочно, меньше, чѣмъ въ минуту, десять разъ подрядъ пробѣжала лабиринтъ. Посаженная въ то же приспособленіе кошка оказалась несостоятельной: за два часа она только приблизилась къ центру. Такимъ образомъ, опыты Киннэмана не обнаружили у высшаго изъ представителей животнаго міра, обезьяны, способности къ мышленію. Мы видимъ здѣсь ту же способность къ зрительнымъ ассоціаціямъ, тѣ же дѣйствія подъ вліяніемъ сильнаго стимула, что у кошки, собаки, даже курицы, и если этотъ изслѣдователь полагаетъ, что разница между „умомъ“ животнаго и человѣческимъ, хотя и очень значительная, является только количественной, а не различіемъ по существу, то данныя, представленныя имъ, указываютъ, скорѣе, на это послѣднее. Животное не размышляетъ, не судитъ, а повинуетъ инстинкту или овладѣвшимъ его волей ассоціаціямъ. И въ области подражанія, поскольку опять-таки рѣчь идетъ не объ инстинктивномъ подражаніи и стадномъ чувствѣ этого животнаго, обезьяна оказалась далеко ниже своей репутаціи. Изслѣдователь на глазахъ у животнаго тридцать разъ подъ рядъ открылъ клѣтку ключомъ и потомъ положилъ ключъ передъ обезьяной, которая не сдѣлала изъ него никакого употребленія. Но другъ у друга животныя заимствовали навыки: когда обезьяна самецъ (обнаружившая, вообще, большія умственные способности, чѣмъ самка) открыла дверь клѣтки съ помощью приспособленія, до котораго самка ни разу не дошла своимъ умомъ, она также усвоила это искусство. Указаніе на то, что обезьяна схватила оставленный ключъ зубами, даетъ нѣкоторыя указанія на то, что опытъ съ подражаніемъ не былъ обставленъ должнымъ образомъ, но во всякомъ случаѣ; стоитъ сопоставить съ этой безпомощностью животнаго розказни различныхъ популяризаторовъ, въ родѣ Брема, полученные безъ критики изъ рукъ фантазеровъ—путешественниковъ или невѣжественныхъ людей, чтобы увидѣть, какъ далека дѣйствительность въ области зоопсихологіи отъ распространенныхъ антропоморфическихъ суевѣрій.

Съ 1907 года изученіе психологіи животныхъ пошло еще болѣе быстрымъ ходомъ, благодаря тому живому интересу къ этой новой отрасли знанія, который проявили американскіе университеты. Новый свѣтъ, не связанный никакими предрасудками и традиціями старой Европы, создалъ спеціальныя кафедръ по психологіи животныхъ въ Итакѣ (въ штатѣ Нью-Йоркъ), Чикаго, Эннарборѣ (въ штатѣ Мичиганъ), Вустерѣ (Worcester въ

штатъ Массачусетсъ)¹⁾ и др. При этихъ кафедрахъ устроены обширныя лабораторіи, въ Чикаго издается спеціальныи журналъ, посвященный зоопсихологіи, *Journal of animal Behaviour*; здѣсь же появился чрезвычайно цѣнный синтетическій трудъ Маргариты Вешбернъ „*The Animal Mind. A. Text-book of Comparative Psychology*“ (1909) и т. под. Такимъ образомъ, вопросъ объ умственной жизни животныхъ получить, вѣроятно, въ ближайшемъ будущемъ новый обширный матеріалъ для своего разрѣшенія. Психологіи обезьянъ посвящено въ 1908—9 годахъ нѣсколько работъ американскими изслѣдователями, Watson и Haggerty. Первый изъ нихъ пользовался для своихъ опытовъ экземплярами, не привыкшими уже къ давнему заключенію въ клѣтку и не истощенными суточнымъ голоданіемъ (какъ у Торндайка), но недавно пойманными и хорошо накормленными. Приманкой служила особенная любимая пища, а задачи, которыя предлагались животнымъ, распадалась на двѣ группы: съ одной стороны, обычныя, уже описанныя выше пробы раскрыванія клѣтки съ помощью различныхъ средствъ, съ другой болѣе сложныя приемы, употребленіе которыхъ зависитъ отъ воспріятія какого-нибудь отношенія: напр., надо было втянуть пищу въ клѣтку съ помощью извѣстнаго прибора, достать пищу изъ бутылки вилкой и т. п. Такіе опыты продѣлывались передъ животнымъ самимъ экспериментаторомъ съ цѣлью убѣдиться, насколько велика подражательная способность обезьяны. Первая группа опытовъ производилась при содѣйствіи ручной, хорошо уже выдрессированной и привыкшей къ экспериментатору обезьяной.

Трудные опыты съ подражаніемъ и употребленіемъ орудія не удавались вовсе; во второй группѣ Ватсонъ не находитъ также ни малѣйшихъ признаковъ дѣятельнаго подражанія. Американскій ученый, такимъ образомъ, отрицаетъ у обезьянъ „высшія формы подражанія“, но признаетъ у нихъ „рудиментарную форму подражанія“, которую онъ считаетъ просто извѣстнаго рода реакціей. Это подражаніе не сознательно и не цѣлесообразно. Быть можетъ, правильнѣе было бы исходить изъ подражательныхъ способностей обезьяны, какъ извѣстнаго инстинкта ея, ограниченнаго въ своей дѣятельности опредѣленнымъ кругомъ возможностей. Подражаніе человѣку, прибѣгающему къ орудіямъ, неизвѣстнымъ и непонятнымъ животному, требуетъ такой степени разумности, которая, конечно, превышаетъ способности обезьяны. Путемъ дрессировки, создающей по-

¹⁾ См. Г. И. Челпановъ. „Объ американскихъ психологическихъ институтахъ“. М. 1911 (съ англійскимъ заголовкомъ: *American Psychological Laboratories*). Къ сожалѣнію, русскіе университеты очень отстали въ этомъ отношеніи, третируютъ психологію животныхъ свысока, не выписываютъ почти совершенно американскихъ психологическихъ журналовъ. Поэтому, въ дальнѣйшемъ изложеніи этой главы я вынужденъ опираться на выше приведенный рефератъ Макса Этлингера.

стоянныя ассоціаціи, возможно, какъ мы знаемъ, научить обезьяну производить рядъ сложныхъ дѣйствій, но это именно дрессировка, не соединенная съ сознательнымъ стремленіемъ къ цѣли съ помощью опредѣленныхъ средствъ, а просто рядъ заученныхъ движеній. При нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ, напр. при исканіи блохъ другъ у друга, дѣятельность сопровождается характернымъ причмокивающимъ звукомъ, въ которомъ Ватсонъ видитъ простое разряженіе энергіи.

Какъ и слѣдовало ожидать, опыты съ подражаніемъ обезьянъ экземплярамъ того же вида оказались болѣе успѣшными. Американскій же изслѣдователь, Хаджерти, экспериментировалъ съ 11 обезьянами изъ породы *Cebus* и *Macacus*, при чемъ подражать должны были обезьяны, не сумѣвшія найти выхода изъ клѣтки, тѣмъ, которыя его нашли. Оказалось, что такъ поставленные опыты (а, конечно, только такъ ихъ и слѣдовало ставить) обнаружили у обезьянъ способность быстро и точно воспроизводить движенія себѣ подобнаго. Какъ животное стадное, обезьяна, несомнѣнно, инстинктивно подражаетъ товарищамъ, или—вѣрнѣе—совершаетъ тѣ же дѣйствія, что и они: такъ же точно, въ силу инстинкта, а не сознательнаго соображенія, подражаютъ другъ другу овцы въ стадѣ, гуси въ стаѣ и т. п. Хаджерти резюмируетъ свое мнѣніе въ видѣ слѣдующихъ четырехъ положеній: 1. Подражающее животное сначала наблюдаетъ поведеніе другого животнаго. 2. Болѣе или менѣе непосредственно послѣ этого его собственное поведеніе измѣняется въ направленіи тѣхъ поступковъ, которые оно наблюдало. 3. Обыкновенно это измѣненіе происходитъ сразу. 4. Поведеніе измѣняется въ значительной степени и является въ случаѣ успѣшности точной копіей замѣченныхъ поступковъ. Эти положенія, какъ видимъ, исключаютъ рѣчь о сознательности дѣйствій у животнаго: никакого колебанія, никакого соображенія о надобности, а просто точная передача образа, запечатлѣвагося въ сознаніи и передающагося волѣ для воспроизведенія. Инстинктивный характеръ этого подражанія подчеркивается еще любопытнымъ наблюденіемъ Хаджерти, что подражаніе оказывается гораздо болѣе успѣшнымъ, когда оно вызывается гнѣвнымъ чувствомъ, желаніемъ подражать съ незнакомымъ животнымъ, а не тогда, когда обезьяна подражаетъ другой, къ которой она уже привыкла. Несомнѣнно, что въ первомъ случаѣ вниманіе гораздо острѣе: нельзя упустить ни одного движенія соперника; инстинктъ велитъ отвѣтить на всякое его нападеніе такимъ же умѣлымъ жестомъ, и подражаніе совершается рефлекторно. Но, научившись открывать клѣтку, положимъ, съ помощью задвижки, ни одна самая способная обезьяна, навѣрное, не устроитъ сама ничего подобнаго, т. е. не приладитъ самой простой задвижки къ двери. *Творчество въ области воспринятаго съ помощью подражанія является способностью только одного человѣка.* Такимъ образомъ, если бы обезьяна или другое высшее животное научилось подражать звукамъ че-

ловѣческой рѣчи, даже ассоціировать рядъ словъ съ поступками или зрительными образами (у собаки это нерѣдко), то все же это не былъ бы даже зародышъ человѣческой рѣчи, потому что важнѣйшій элементъ ея, самостоятельное творчество, отсутствовалъ бы. Нельзя представить себѣ попугая, говорящую собаку, скворца, которые попытались бы изъ знакомыхъ имъ словъ или по способу этихъ послѣднихъ образовать фразу или новое слово. Ни одно изъ животныхъ даже въ самой отдаленной степени не приближается къ этой способности; его духовная жизнь идетъ по совершенно другой линіи, внѣ творчества рѣчи. Разовьется-ли то или другое животное до способности говорить, этого никто, конечно, не знаетъ, но признаковъ такого развитія пока нѣтъ ¹⁾.

ГЛАВА III.

Внутренняя рѣчь.

Рѣчь человѣка возникла въ тотъ моментъ, когда онъ созналъ, что звукъ, *инстинктивно* имъ произведенный, *соотвѣтствуетъ* извѣстному чувству или представленію его. Съ этого момента крикъ превратился въ сознаніи человѣка въ *означеніе* чувства или представленія, въ первичное слово. Въ животномъ мірѣ не образъ, но чувство вызываетъ крикъ: курица не созываетъ цыплятъ потому, что увидѣла ястреба, но ужасъ при видѣ этой птицы разряжается въ формѣ крика, инстинктивно понимаемаго птенцами ея. Въ условіяхъ ея теперешней жизни, пожалуй, было бы *разумнѣе* со стороны курицы не кричать, а слѣзнуть подъ надежную защиту человѣка. Но курица, когда кричитъ, конечно, не соображаетъ о разумности своего поведенія, а просто не можетъ не кричать и не замѣчаетъ того, что кричитъ. Если бы она это замѣтила и сознала, въ родѣ того, что подумала бы про себя: „я кричу потому, что испугалась; мой крикъ означаетъ испугъ, а другимъ крикомъ я созываю цыплятъ“,—тогда у курицы возникло бы то, чѣмъ теперешній говорящій человѣкъ отличается отъ животного, т. е. внутренняя рѣчь, слово, какъ выраженіе сознанія. Человѣкъ можетъ руководиться въ своихъ поступкахъ образами, которые подчиняютъ себѣ его сознаніе; онъ можетъ дать волю потоку зрительныхъ или слуховыхъ образовъ проноситься въ его сознаніи, но, когда онъ *мыслитъ*, составляетъ *сужденія*, то онъ мыслитъ только словами. Слова могутъ сопровождаться образами, но могутъ оставаться и только словами, только отвлеченными символами вещей и отношеній. Слова могутъ ассоціироваться съ образами, но также и другъ съ другомъ, не выходя изъ предѣловъ

¹⁾ Къ вопросу о теченіи образовъ въ психической жизни животныхъ мы еще придется вернуться при анализѣ отношеній между словомъ и образомъ въ главѣ о душевной жизни глухонѣмыхъ.

чисто словесныхъ ассоціацій; они могутъ вызывать тѣ или другія чувства, но могутъ также оставаться совершенно безцвѣтными въ смыслѣ чувственной окраски, быть лишь выраженіемъ мысли. Такимъ образомъ, внутренняя рѣчь (или мышленіе словами) является существеннѣйшимъ условіемъ въ образованіи рѣчи внѣшней, произносимой. Съ другой же стороны, такъ какъ пониманіе невозможно безъ сознанія, а сознаніе находитъ свое выраженіе въ видѣ мышленія словами (особые случаи, какъ пониманіе чертежей, формулъ и т. п., не требующее словъ, только подтверждають приведенное сужденіе, такъ какъ обычный способъ общенія между людьми—та или иная форма рѣчи), то внутренняя рѣчь необходима для пониманія другихъ. Такъ, русская внутренняя рѣчь нисколько не поможетъ человѣку, не знающему французскаго языка и попавшему въ общество людей, говорящихъ по-французски. Такимъ образомъ, какъ для разговора съ другими, такъ и для пониманія ихъ человѣкъ долженъ обладать лабораторіей языка, внутренней рѣчью. Чужія слова воспринимаются, какъ комплексы звуковъ, въ слова они превращаются для насъ уже нашимъ собственнымъ аппаратомъ рѣчи (понимая подъ нимъ и слуховые, двигательные и зрительные центры рѣчи), который, въ свою очередь, приводитъ въ движеніе органы, необходимые для произнесенія словъ. Каждое слово, которое мы услышимъ и повторимъ, проходитъ два пути: отъ внѣшняго міра къ нашей внутренней рѣчи, отъ этой послѣдней къ внѣшней рѣчи, къ говоренію. Слѣдовательно, если испортится (или отсутствуетъ) одинъ изъ этихъ путей, то рѣчь въ человѣческомъ смыслѣ этого слова прекращается, какъ и тогда, когда повреждены самые центры рѣчи. Отсюда ясно, какъ важно остановиться на этомъ процессѣ претворенія сознанія во внутреннюю рѣчь.

Удивительнымъ образомъ, эта форма мышленія сдѣлалась предметомъ систематическихъ наблюденій лишь во второй половинѣ 19 вѣка, хотя наличность ея не ускользнула отъ вниманія уже очень старыхъ наблюдателей. Аврелій Августинъ въ своемъ сочиненіи „De Trinitate“ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „Si verba non sonant, in corde suo dicit utique qui cogitat“ (если не звучатъ слова, въ сердцѣ своемъ какъ бы говоритъ тотъ, кто думаетъ¹⁾). Для христіанскихъ мистиковъ вопросъ о внутренней рѣчи получилъ значеніе практическое: наблюдая за выраженіемъ своей мысли въ словѣ, они приходили въ смущеніе, какъ отличить эту произносимую ими про себя рѣчь отъ внушеній посторонней силы. Такъ, католическая мистичка 16 вѣка, Тереза де Ахумада, такъ отличала свою внутреннюю рѣчь отъ „сверхъестественныхъ словъ“, т. е. слуховыхъ галлюцинацій, основанныхъ, въ свою очередь, на ней же, но сводившихся большою къ внушенію высшей силы. „Мнѣ хотѣлось бы

¹⁾ Эти и слѣдующіе примѣры заимствованы изъ статьи Леруа: „Le langage intérieur“ (Annales Medico-psychologiques de l'aliénation mentale et de la Médecine legale des aliénés. 1905, стр. 353—375).

объяснить, чѣмъ слова Духа Св. отличаются отъ тѣхъ, которыя нашъ разумъ образуетъ внутри насъ, или которыя онъ говоритъ самъ себѣ. Душа, которая услышитъ божественныя слова, ясно различитъ ихъ происхождение, потому что между ними и другими словами существуетъ рѣзкое различіе. Когда складываетъ свои слова разумъ (пониманіе, l'entendement), онъ поступаетъ, какъ человѣкъ, который ведетъ разговоръ; а когда слова идутъ отъ Бога, разумъ внимаетъ тому, что говоритъ другой. Въ первомъ случаѣ онъ ясно видитъ, что онъ не слушаетъ, но самъ поступаетъ, и слова, которыя онъ образуетъ, заключаютъ въ себѣ что-то глухое, фантастическое, лишены той ясности, которая составляетъ неотдѣлимую особенность Божьихъ словъ. Въ первомъ случаѣ мы можемъ обращать наше вниманіе и на другой предметъ, подобно тому, какъ лицо говорящее можетъ замолчать; но когда намъ говоритъ самъ Богъ, это уже не въ нашей власти. Такъ ощущую, но достаточно опредѣленно отмѣчено различіе между мыслью, которая переходитъ съ предмета на предметъ, и галлюцинаціей, охватывающей вниманіе съ полнымъ могуществомъ. Однако, этотъ родъ „внушенія“ мистики сами не признаютъ галлюцинаціями. Главный представитель той мистической школы, изъ которой вышла названная сейчасъ мистичка, Жанъ-Де-Ла-Круа (1542—91) выражается по этому предмету въ слѣдующихъ словахъ: „Разумъ образуетъ обыкновенно слова, которыя мы называли послѣдовательными, такъ какъ, углубляясь самъ въ себя, онъ съ силой предается изысканію какой-нибудь истины. Онъ бываетъ всецѣло поглощенъ этимъ занятіемъ; онъ дѣлаетъ въ это время чрезвычайно вѣрныя разсужденія по своему предмету, совершая ихъ легко, отчетливо, ясно; онъ открываетъ вещи, которыхъ онъ раньше не зналъ. Ему кажется, что трудится не онъ самъ, но что *кто-то другой ему говоритъ и отвѣчаетъ*, что онъ его *внутренно наставляетъ*, и понстинѣ, такъ можно думать и можно этому вѣрить; ибо онъ говоритъ самъ съ собой, и онъ самъ отвѣчаетъ себѣ, какъ если бы одинъ человѣкъ говорилъ съ другимъ человѣкомъ, и дѣйствительно, это происходитъ именно такимъ образомъ: вѣдь, *хотя это все производитъ самъ разумъ*, тѣмъ не менѣе Духъ Св. нерѣдко посылаетъ ему свою помощь, чтобы онъ могъ складывать свои мысли, вести разсужденіе, находить слова, соответствующія истинѣ, о которой онъ размышляетъ. Отсюда происходитъ, что онъ произноситъ эти слова, и что онъ говоритъ ихъ самъ себѣ, какъ будто бы это была самостоятельная, состоящая изъ словъ рѣчь“. Такъ христіанскіе мистики путемъ глубокаго изученія своей духовной жизни уже подходили къ пониманію одного изъ важнѣйшихъ психологическихъ актовъ. Въ 18 вѣкѣ нѣсколько писателей упоминаютъ о внутренней рѣчи. Такъ, аббатъ Ришаръ въ своей „Théorie des songes“ (1766) уже почти выражается современнымъ языкомъ. „Привычка постоянно связывать идеи съ изобразительными знаками (avec les signes représentatifs)—говорить онъ—является причиной того,

что разумѣніе или душа никогда не образуетъ ни одной мысли безъ того, чтобы воображеніе не представило ей въ то же самое время подходящихъ знаковъ или названій. Когда размышляешь, то говоришь и выражаешься про себя (*on s'exprime intérieurement*)“. Въ 19 вѣкѣ начинаются болѣе пристальныя попытки понять значеніе рѣчи для мысли.

Уже въ 1845 году психіатрія берется за эту область знаній. Авторъ сочиненія о помѣшательствахъ и гашишѣ, Моро, замѣчаетъ слѣдующее: „Въ нормальномъ состояніи *мыслить* это значитъ внутренно говорить; въ томъ случаѣ, когда мыслить галлюцинирующий, онъ говоритъ громко; ибо душа не можетъ высказать свою мысль, не слыша ея, въ виду особеннаго состоянія, въ которомъ она находится, состоянія, при которомъ всѣ продукты воображенія съ необходимостью принимаютъ формы, доступныя органамъ нашихъ чувствъ. Итакъ, когда мы мыслимъ, мы умственно говоримъ. Ни одна идея не можетъ явиться у насъ безъ посредства написаннаго или произносимаго знака, который ее изображаетъ. Достаточно внимательно присмотрѣться къ себѣ, чтобы замѣтить, что мысли мы какъ бы слышимъ звуки словъ и рѣчей, которыя переводятъ (*traduisent*) нашу мысль; мы слышимъ ихъ особеннымъ образомъ, въ воображеніи, мы чувствуемъ, однако, что это слышаніе не такъ уже далеко отъ дѣйствительнаго“. Нужно было, чтобы это чрезвычайно важное для психіатріи наблюденіе получило санкцію со стороны какого-нибудь общепризнаннаго авторитета, чтобы оно крѣпко утвердилось въ наукѣ. Это и было сдѣлано школой Шарко, которая разработала вопросъ о значеніи различныхъ формъ внутренней рѣчи для объясненія галлюцинацій. Въ педагогикѣ же этотъ вопросъ еще не получилъ должнаго мѣста, хотя совершенно ясно, что обладатели различныхъ типовъ внутренней рѣчи различнымъ образомъ воспринимаютъ сообщаемое имъ знаніе.

Шарко установилъ три типа внутренней рѣчи, т. е. три рода мышленія словами. По ученію его школы, мыслить можно словами произносимыми, слышимыми или написанными; послѣднее не есть память зрительная, мышленіе образами, но есть мышленіе образами словъ, словами написанными или напечатанными. О томъ, какъ образное мышленіе относится къ мышленію словами, мы находимъ въ клиническихъ лекціяхъ Шарко (*Leçons sur les maladies du système nerveux*. 1890. III. 180—188) очень яркій примѣръ. Психіатръ описываетъ случай челоуѣка, который до болѣзни обладалъ живою образной памятью, но потомъ утратилъ ее и пережилъ въ соотвѣтствіи съ этимъ рѣзкое измѣненіе своей психики. „Не будучи въ состояніи представлять себѣ видимое и сохранивъ въ совершенствѣ отвлеченную память, я ежедневно испытываю удивленіе при видѣ вещей, которыя я уже давно долженъ знать. Мои ощущенія или, вѣрнѣе, мои воспріятія безконечно новы; мнѣ кажется, что въ моемъ существованіи произошла полная перемѣна и, разумѣется, вмѣстѣ съ тѣмъ значительно

измѣнился мой характеръ. Прежде я былъ впечатлительнымъ энтузіастомъ и обладалъ огромнымъ воображеніемъ; теперь я спокоенъ, холоденъ, и моя фантазія никуда не увлекаетъ меня. Такъ какъ дѣятельность внутренняго воображенія у меня совершенно отсутствуетъ, то значительно измѣнились и мои сны. Теперь я вижу во снѣ только *слова*, тогда какъ прежде мои сновидѣнія состояли изъ зрительныхъ образовъ. Приведу примѣръ: попросите меня представить себѣ башни собора Notre Dame, пасущагося барашка, судно, потерпѣвшее крушеніе на морѣ, и я скажу вамъ, что, умѣя прекрасно различать всѣ эти вещи и отлично зная, о чемъ идетъ рѣчь, я не представляю себѣ рѣшительно ничего съ помощью внутренняго зрѣнія. Теперь я *принужденъ говорить себѣ то, что я хочу удержать* въ памяти, тогда какъ прежде мнѣ было достаточно фотографировать это съ помощью зрѣнія¹⁾. Указанный случай свидѣтельствуетъ о томъ, что съ переменной основной формы мысли на сцену выступаетъ иная форма, и то же можно сказать о видахъ внутренней рѣчи. Не подлежитъ сомнѣнію, что нормальный человѣкъ пользуется весьма сложнымъ аппаратомъ для мышленія словами, а не какой-либо обособленной формой его. Такъ, весьма вѣроятно, что таблица умноженія удерживается въ памяти съ помощью слуха, тогда какъ при правописаніи мы пользуемся памятью о движеніяхъ, необходимыхъ для написанія слова¹⁾. Эта способность нашего творческаго воображенія пользоваться при построеніи нашей духовной жизни матеріаломъ, доставляемымъ различными чувствами, представляетъ источникъ, откуда вытекло и творчество рѣчи. Формула Потебни: „слово есть орудіе созданія единства образа“²⁾ получаетъ свое блестящее подтвержденіе въ современной психологіи, которая удѣлила большое вниманіе внутренней рѣчи, какъ характерной способности человѣка.

Несмотря на то, что рѣзкое обособленіе типовъ внутренней рѣчи едва ли возможно, все-таки у каждаго изъ людей выступаетъ отчетливѣе одинъ изъ нихъ. Таковъ, напр., одинъ изъ первыхъ изслѣдователей внутренней рѣчи, французскій писатель Эджеръ³⁾, который увѣренъ въ томъ, что всегда и всѣ люди думаютъ про себя слышимыми словами. „Моя внутренняя рѣчь (слово, *la parole intérieure*) является воспроизведеніемъ моего голоса“, опредѣляетъ Эджеръ, и при этомъ прибавляетъ: „Но, конечно, эта особенность не является постоянной; когда я вспоминаю слова услышанныя или прочитанныя, я отчетливо слышу въ себѣ слова и фразы, произносимыя съ выраженіемъ, которое часто варьируется въ зависимости отъ того, кто ихъ произноситъ“. Этотъ психологъ полагаетъ, что „вну-

1) E. Peillaube. Les images. Essai sur la mémoire et l'imagination. Paris. 1910.

2) Ср. Д. Н. Овсянко-Куликовскій. Языкъ искусство. 1895, стр. 15.

3) V. Egger. La parole intérieure. Essai de psychologie descriptive. Paris. 1881. (2-е изд. 1909).

треннее слово является обыкновенно эхомъ ослабленнымъ, но вѣрнымъ нашего индивидуальнаго голоса; но оно можетъ подражать также и другимъ голосамъ; самые различные тембры, самыя странныя произношенія и съ тѣмъ же правомъ все звуки природы могутъ подвергнуться внутреннему воспроизведенію. А голосу нашему, наоборотъ, способность подражанія присуща въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. Между тѣмъ способность внутренняго воспроизведенія совершенно неограничена: для того, чтобы звукъ былъ воспроизведенъ ею, достаточно, чтобы онъ былъ замѣченъ въ то время, когда дошелъ до нашего слуха, и чтобы затѣмъ память дошла до него, согласно своимъ законамъ“. Другой человѣкъ, принадлежащій къ тому же типу, выражается еще болѣе опредѣленно: „Я слышу внутри себя всю дѣятельность своей мысли; я не говорю ея, она мнѣ говоритъ. И мое слово можетъ только выразить продиктованную мнѣ мысль, надъ которой я не властвую“. Этотъ пассивный характеръ слухового (аудитивнаго) типа внутренней рѣчи подтверждается, хотя бы такого рода замѣчаніями наблюдателей своей духовной жизни. „Я не произношу тѣхъ словъ, которыя я слышу, когда думаю; мнѣ кажется, что я не оказываю никакого вліянія на ихъ возникновеніе. Мнѣ представляется, что воля остается пассивной, и что слова слѣдуютъ одно за другимъ внѣ всякаго усилія съ ея стороны. Я думаю словами; мой умъ почти лишень зрительныхъ образовъ“. Для вопроса о происхожденіи языка не лишена интереса жалоба Эджера на то, что въ извѣстныхъ состояніяхъ (напр., во время бессонницы) мы не можемъ заставить нашу мысль замолчать; мы ее слышимъ тогда, потому что у нея есть свой голосъ. Мы не только ее слышимъ, но слушаемъ: она противорѣчитъ нашимъ желаніямъ, нашему рѣшенію; она изумляетъ, тревожитъ насъ; она явилась неожиданно и какъ врагъ: мы стараемся ее побѣдить, усмирить, обратить на безразличные предметы, чтобы заставить замолчать“. Отсюда уже всего одинъ шагъ до галлюцинацій, до сократовскаго „демона“, обращавшагося съ властнымъ словомъ предостереженія къ аѳинскому мудрецу, до таинственнаго голоса, который приказывалъ Жаннѣ Д'Аркъ вооружиться и т. п.

Такъ, въ клиникѣ проф. В. М. Бехтерева одинъ душевно-больной жаловался на то, что боленъ „мышленіемъ“. По его словамъ, „самъ онъ будто бы мыслить не можетъ, такъ какъ каждый разъ, когда онъ начнетъ мыслить, всегда мысли его тотчасъ же произносятся впередъ; онъ старается перемѣнить ходъ мыслей и вновь за него мыслить впередъ. Этотъ разговоръ онъ слышитъ всегда лѣвымъ ухомъ. Голосъ, который больной слышитъ уже въ продолженіе 13 лѣтъ и притомъ всегда въ лѣвое ухо, вполнѣ ясный, мужской, но съ различнымъ характеромъ, то болѣе тонкій, то болѣе грубый, а иногда сиповатый“. Это вмѣшательство какъ будто посторонней рѣчи въ ходъ нашего логическаго мышленія представляетъ, несомнѣнно, явленіе болѣзненное, выраженіе диссоціаціи личности. Но возможно

оно, говоря словами Потебни („Мысль и языкъ“, 2 изд. 1892, стр. 83), лишь при условіи „существованія въ душѣ звукового образа, какъ цѣли“. Въ концѣ концовъ, эти слуховыя галлюцинаціи, основанныя на ненормальныхъ отправленіяхъ дѣятельности внутренней рѣчи, до такой степени овладѣваютъ сознаниемъ больного, что онъ уже перестаетъ ориентироваться въ томъ, что относится къ міру дѣйствительности, и что принадлежитъ къ міру его воображенія. Постепенно больной доходитъ до того, что почти одновременно отвѣчаетъ на вопросы доктора и разговариваетъ съ существомъ, которое въ немъ живетъ. Это послѣднее получаетъ также свое объясненіе изъ міра галлюцинацій и такъ овладѣваетъ сознаниемъ больного, что для реальныхъ впечатлѣній остается уже все меньше и меньше мѣста. Связная рѣчь, которую прежде держалъ овладѣвшій имъ духъ, теперь превращается въ безсвязныя выкрикиванія, а такъ какъ настроеніе больного угнетенное и растерянное, то и выкрикиванія принимаютъ непріятный для него характеръ, превращаются въ брань, насмѣшки и т. п.¹⁾ Стоитъ однако съ этими галлюцинаціями сравнить заявленіе другого больного о томъ, что „преслѣдователи его устроили у него въ глоткѣ телефонъ, отъ чего его языкъ дрожить“²⁾, или жалобы больной, страдавшей словесными галлюцинаціями, на дрожаніе ея языка и т. п., чтобы видѣть, что въ той рѣзкой формѣ, какую принимаютъ процессы нормальной психической жизни при разстройствѣ ея, выступаетъ, какъ нѣчто самостоятельное, и иная форма внутренней рѣчи. Ощущаемое въ болѣзненномъ состояніи „дрожаніе“ языка при мысли представляетъ иннервацию органовъ рѣчи при мышленіи у весьма многихъ людей. Если слуховая (аудитивная) форма внутренней рѣчи является состояніемъ пассивнымъ, то эта форма двигательная (моторная) можетъ быть характеризована, какъ по преимуществу активная. Вообще, въ нашей духовной жизни двигательные образы играютъ чрезвычайно видную роль; въ мышленіи же, совершающемся съ помощью словъ, ихъ участіе, вѣроятно, необходимо всегда при активномъ отношеніи къ содержанію мысли.

„Когда, спокойно усѣвшись, я зажмуриваю глаза—разсказываетъ одинъ изъ изслѣдователей моторнаго типа внутренней рѣчи, вѣнскій психологъ Штрикеръ—и когда я стараюсь при этомъ вызвать въ своей памяти нѣсколько хорошо извѣстныхъ стиховъ, мнѣ кажется при этомъ, если я сосредоточиваю свое вниманіе на своихъ органахъ рѣчи, что я про себя внутренне говорю. Губы мои сомкнуты; зубы плотно сжаты и остаются въ совершенной неподвижности, языкъ также неподвиженъ и находится въ соприкосновеніи со всѣмъ, что его окружаетъ. Даже сосредоточивъ все

¹⁾ См. *I. Berze. Ueber das Bewusstsein der Hallucinirenden. Jahrbücher für Psychologie und Neurologie* 1897. XVI, 285—331.

²⁾ *I. Séglas. Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses. Paris. 1895, стр. 12—18.*

свое вниманіе на органахъ рѣчи, я не могу открыть ни малѣйшаго слѣда движеній, и тѣмъ не менѣе мнѣ кажется, что я произношу тотъ стихъ, о которомъ думаю“. Другой наблюдатель, Балле, говоритъ про себя слѣдующее: „У меня двигательные образы обладаютъ въ обычныхъ условіяхъ мышленія чрезвычайно сильной интенсивностью. Я отчетливо ощущаю, что, кромѣ исключительныхъ случаевъ, я не вижу и не слышу своей мысли, но умственно произношу ее“. Нѣкоторые изъ наблюдателей своей внутренней рѣчи выражаются еще болѣе категорически. Такъ, одинъ юристъ, прокуроръ, который по обязанности службы долженъ былъ много говорить, естественнымъ образомъ *привыкъ* думать въ формѣ произносимой имъ рѣчи. „Я совершенно не могу думать иначе, какъ говоря про себя умственно. И даже это умственное произношеніе мысли оказывается для меня недостаточнымъ. Это лишь минимумъ того, что мнѣ нужно! Я думаю *быстро* лишь тогда, когда говорю громко. Въ кабинетѣ мысль меня увлекаетъ, работа становится тягостна; и наоборотъ, я всегда бываю изумленъ, какъ широко развивается моя мысль, какъ-то сама собой, когда я говорю публично о дѣлахъ, къ которымъ я даже довольно плохо подготовился, и къ которымъ я боялся приступить“. Это цѣнное заявленіе, вѣроятно, встрѣтитъ полное подтвержденіе со стороны многихъ, которые по своимъ профессиональнымъ занятіямъ должны много говорить, т. е. со стороны юристовъ, учителей, профессоровъ. О томъ, что и при молчаливомъ мышленіи словами произносимыми происходитъ болѣе или менѣе значительная иннервация органовъ произношенія, свидѣтельствуетъ наблюденіе, которое сдѣлалъ надъ собой Штрикеръ и которое легко провѣрить каждому. Онъ старался напр. думать о звукѣ *б* со сжатыми губами и ощущалъ при этомъ очень явственное напряженіе въ обѣихъ губахъ, при звукѣ *д* движеніе, которое совершалъ непроизвольно конецъ языка, при звукѣ *ж* толчокъ, которыя дѣлалъ языкъ въ своемъ основаніи. Точно также, думая про себя латинскія слова *pater* и *mater*, онъ ощущалъ очень ясно различіе между начальными звуками этихъ двухъ словъ, и передъ этимъ ощущеніемъ отступали на задній планъ менѣе сильныя и отчетливѣя ощущенія непроизвольнаго движенія при мысли о дальнѣйшемъ сочетаніи звуковъ.

Эти моторные образы словъ чрезвычайно рѣдко выступаютъ въ чистомъ своемъ видѣ, обособленно отъ акустическихъ. Даже люди, обладающіе ярко выраженной моторной формой внутренней рѣчи, какъ напр. американскій психологъ Даджъ (Dodge), находятъ у себя наличность слуховыхъ словесныхъ образовъ. „При отчетливомъ познаніи акустическаго слова, — говоритъ онъ, — слова, сначала познаваемого не отчетливо, въ сознаніи выплываютъ моторныя словесныя представленія, но обыкновенно они сопровождаются отзвукомъ акустическаго воспріятія“. Въ другомъ мѣстѣ тотъ же изслѣдователь прибавляетъ: „Я принужденъ думать, что тотъ элементъ сознанія, который *дѣлаетъ представленія движенія представ-*

леніями о звукѣ и словѣ, есть не что иное, какъ извѣстнаго рода не-локализованныя, блѣдныя, акустическія представленія, которыя у меня достигаютъ степени самостоятельнаго, отчетливаго воспроизведенія лишь въ видѣ исключенія. Однако, въ всякаго сомнѣнія, моторныя представленія являются у меня рѣшительнымъ моментомъ въ представленіяхъ словъ. Акустическій элементъ,—хотя, вѣроятно, и онъ постоянно участвуетъ въ нихъ,—даетъ отчетливому цѣльному представленію о звукѣ лишь неопредѣленную полноту, которая отличаетъ его отъ простаго представленія движенія и положенія“. Слѣдуетъ отмѣтить, что самъ Даджъ является по своей профессіи университетскимъ преподавателемъ, т. е. человѣкомъ, который по необходимости думаетъ говоря. Иногда эти два вида внутренней рѣчи какъ бы расщепляются. Одинъ изъ корреспондентовъ Ст.-Поля сдѣлалъ слѣдующее любопытное заявленіе: „Вообще говоря, я произношу слова своей мысли; при этомъ, произнося ихъ умственно, я слышу свой голосъ. Иногда моя мысль принимаетъ форму діалога; тогда я слышу, какъ голосъ человѣка, мнѣ котораго мнѣ извѣстно, дѣлаетъ мнѣ возраженія; умственно я произношу слова отвѣта... Моя мысль принимаетъ эту форму безъ всякаго добровольнаго вмѣшательства съ моей стороны“. Съ другой стороны, даже тѣ чисто аудитивныя типы внутренней рѣчи, какими считаютъ себя Эджеръ и подобные ему, несомнѣнно, обладаютъ и двигательными представленіями словъ. Возраженія противъ этого пониманія, выдвинутыя Болдуиномъ¹⁾, основаны, какъ мнѣ кажется, лишь на недоразумѣніи. Весь этотъ вопросъ такъ важенъ для пониманія языка, какъ творчества, что я остановлюсь на замѣчаніяхъ названнаго американскаго психолога. „Мы узнаемъ и понимаемъ такія слова, которыхъ не умѣемъ произнести и которыхъ никогда не писали; это узнаваніе должно совершаться при помощи зрительныхъ или слуховыхъ образовъ. О роли, которую у меня самого играютъ то зрительныя, то двигательныя воспоминанія, можно судить по тому, что, когда я собираюсь говорить на какомъ-нибудь языкѣ, кромѣ англійскаго, мнѣ прежде всего приходятъ на умъ нѣмецкія слова; а когда я сажусь писать на иностранномъ языкѣ, у меня непремѣнно всплываютъ тотчасъ же французскія слова. Это значитъ, что знаніе нѣмецкаго языка носить у меня рѣчедвигательный и слуховой характеръ, такъ какъ этому языку я учился путемъ разговоровъ въ Германіи, между тѣмъ какъ знаніе французскаго языка, который былъ усвоенъ въ школѣ съ помощью чтенія и письменныхъ упражненій, носить зрительный и руководительный характеръ“. Именно вслѣдствіе этого двигательные образы французскихъ словъ не укрѣпились въ сознаніи Болдуина, и онъ не могъ говорить по французски, т. е. былъ *нѣмъ* съ точки зрѣнія среды, говорящей только по французски. Такую же необходимость

¹⁾ Д. М. Болдуинъ. Духовное развитіе дѣтскаго индивидуума и чело-вѣческаго рода. (Рус. пер. Москва, 1912). II. 160.

наличности двигательной внутренней рѣчи можно извлечь и изъ дальнѣйшаго возраженія Болдуина: „Интересно также отмѣтить радостное узнаваніе, обнаруживаемое маленькими дѣтьми, когда они правильно произносятъ какой-нибудь новый гласный или согласный звукъ. Въ этомъ случаѣ, очевидно, воспоминаніе правильнаго звука не можетъ исходить изъ двигательныхъ центровъ“. Противъ этого можно возразить слѣдующее: слышащее лицо контролируетъ свою рѣчь съ помощью слуха (глухонѣмые съ помощью мускульнаго ощущенія). Когда слуховой образъ слова, запомнивагося изъ чужой рѣчи, совпадаетъ съ тѣмъ слуховымъ же образомъ, какой дается намъ нашимъ собственнымъ произношеніемъ, тогда мы убѣждаемся въ томъ, что произносимъ правильно. То радостное изумленіе, о которомъ говоритъ Болдуинъ, является лишь выраженіемъ этого сознанія и послѣдствіемъ того, что двигательный образъ слова наконецъ даетъ удовлетворительное слуховое ощущеніе. Безъ двигательныхъ образовъ вообще едва-ли возможно какое-либо дѣйствіе человѣка, а стало быть и рѣчь. „Двигательный образъ входитъ, какъ существенный элементъ, въ весьма значительное число умственныхъ комбинацій (*de combinaisons mentales*), хотя зачастую о наличности его и не догадываются. Воспоминаніе о движеніи зиждется на двигательныхъ образахъ; когда эти образы разрушены, воспоминаніе о движеніи утрачивается, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже, что особенно любопытно, теряется и способность выполнить движеніе. Патологія даетъ намъ рядъ примѣровъ этого въ моторной афазіи, въ аграфіи“¹⁾. Дикарь обводитъ рукой рисунокъ, чтобы лучше запомнить очертанія предмета, изображеннаго на картинкѣ; больной, потерявшій способность читать, оказывается въ состояніи прочесть слово, обводя пальцами буквы и возстановляя въ своей памяти знакомые ему двигательные образы написанія словъ.

Въ генеалогіи развитія языка оба типа внутренней рѣчи занимаютъ мѣсто рядомъ. Нужно было, чтобы воспринятый слухомъ звукъ былъ сознанъ, какъ знакъ чувства или образа, т. е. былъ воспринятъ, какъ слово, и чтобы затѣмъ явилось его двигательное представленіе. Но могъ идти этотъ же процессъ и обратнымъ путемъ: произнесенный звукъ превратился въ сознаніи произнесшаго его въ *знакъ*, въ слово, и создалось такимъ образомъ первичное двигательное представленіе слова, которое при произнесеніи его было воспринято и слухомъ. Т. наз. аудитивно-моторный типъ является первичнымъ типомъ внутренней рѣчи. На почвѣ развитого въ естественныхъ условіяхъ жизни зрительнаго воображенія могъ развиваться третій видъ этой послѣдней, наличность котораго несомнѣнна у грамотныхъ людей. Чтобы разсмотрѣть, какъ это происходитъ, я приведу нѣсколько фактовъ. Вотъ самонаблюденіе юноши 18 лѣтъ: „Я

1) A. Binet. La psychologie du raisonnement. 3 éd. Paris. 1902.

думаю всегда про себя, постепенно развивая мысль. Если учу что-нибудь, читаю всегда одними глазами, не шевеля губами. Совершенно то же было въ дѣтствѣ. Помню, будучи еще совѣтъмъ мальчуганомъ, я молился даже всегда мысленно, *не произнося* словъ молитвы. Въ младшихъ классахъ мнѣ приходилось съ любопытствомъ наблюдать за товарищами, учившими что-либо вслухъ. Иногда, когда я не могъ отнестись со вниманіемъ къ читаемому или учимому, я пытался повторять это громко, но при этомъ я произносилъ слова совершенно машинально, почти не понимая ихъ значенія. Вообще, я никакъ не могу сосредоточить вниманіе на чемъ-нибудь, произносимомъ мною вслухъ: понятно, это не относится къ обыкновенному разговору. Когда я не могу уловить какую-нибудь мелодію, я стараюсь припомнить обстоятельства, при которыхъ я ее слышалъ, и тогда въ большинствѣ случаевъ она *является вдругъ* совершенно отчетливо. Всѣ мои сны, очень, впрочемъ, рѣдкіе, *необыкновенно ярки и послѣдовательны* до того, что иногда въ теченіе цѣлаго дня я не могу освободиться отъ впечатлѣнія, оставленнаго ими. Привожу еще одно замѣчаніе, которое, можетъ быть, не будетъ для васъ безынтересно. Не знаю, впрочемъ, можетъ быть, это общее явленіе? Именно: почти каждому слову у меня соответствуетъ вполне опредѣленный и постоянный образъ, въ видѣ какой-нибудь фигуры въ той или иной позѣ, съ тѣмъ или инымъ выраженіемъ. Особенно отчетливо эти образы являются при словахъ, выражающихъ просьбу или угрозу. Теперь это нѣсколько ослабѣло, но года два-три тому назадъ при каждомъ болѣе или менѣе живомъ разговорѣ я видѣлъ какъ бы цѣлую галерею¹⁾. Такимъ образомъ, какъ мы видимъ, и у этого человѣка, обладавшаго столь развитой зрительной памятью, не отсутствовала слуховая внутренняя рѣчь, по крайней мѣрѣ, музыкальная. Но и эта послѣдняя ассоциировалась со зрительными образами, наличность которыхъ оказывалась необходимой для того, чтобы вызвать въ памяти мелодію. „Картинная галерея“ потускла въ своей живости, когда „фигуры“ смѣнились зрительными образами словъ.

И опять-таки патологія производитъ любопытный экспериментъ съ нормальной духовной жизнью человѣка, окрашивая въ особенно яркій цвѣтъ извѣстную особенность ея. Такъ, мы еще не выходимъ изъ предѣловъ нормальной жизни въ слѣдующемъ случаѣ, приводимомъ Гальтономъ¹⁾. Одна дама рассказала ему слѣдующее: „Печатныя слова всегда имѣли для меня лицо; они обладали извѣстнымъ выраженіемъ, и извѣстныя лица заставляли меня думать объ извѣстныхъ словахъ. За исключеніемъ нѣсколькихъ случаевъ, слова не имѣли *никакой* связи съ ними“. Несомнѣнно, однако, что какія-то ассоціаціи вызывали при видѣ *напечатанныхъ* словъ извѣстные зрительные образы; однако, это были ассо-

¹⁾ Fr. Galton. Inquiries into human faculty and its Development. London. 1883, стр. 157—158.

ціації случайныя. Трудно представить себѣ иначе, почему слова *зеленый* или лучший вызывали у этой дамы представленія о лицѣ съ большими зубами, или слово *голубой* „имѣло глупый видъ и обращалось въ правую сторону“. Наличность такихъ ассоціацій подтверждается замѣчаніемъ наблюдательницы, что „слово вниманіе имѣло большіе глаза, обращенные въ лѣвую сторону“. Тутъ уже есть внутренняя связь между значеніемъ слова и образомъ: глаза вѣдь именно служатъ символомъ вниманія. „Выраженіе, конечно, находится въ большой зависимости отъ выраженія (лица) буквъ, которыя имѣютъ точно также лица и фигуры. Всѣ маленькіе *a* обращаютъ свои глаза въ лѣвую сторону, и это даетъ направленіе глазамъ Вниманія (attention). Ant, напротивъ, смотритъ нѣсколько внизъ. Разумѣется, этихъ лицъ безчисленное множество, какъ и словъ, и когда я хочу всѣ ихъ представить себѣ, у меня просто разбаливается голова“. Въ этомъ случаѣ напечатанныя слова, хотя бы и представляющіяся столь живо, что они оказываются снабженными лицами и фигурами, все-таки воспринимаются сознаніемъ только, какъ слова внутренней рѣчи. Отсюда, однако, уже не далеко до утвержденія одной душевной больной, которая „писала глазами“ и переписывалась этимъ способомъ съ жителями отдаленныхъ странъ. Это болѣзненное развитіе той формы внутренней рѣчи, которую было бы правильнѣе называть „внутреннимъ чтеніемъ“ (*la lecture intérieure* Леруа) ¹⁾. Весьма вѣроятно, что эта способность является новѣйшей модификаціей чрезвычайно древней, еще до-человѣческой формы духовной жизни, зрительнаго мышленія. По справедливому замѣчанію Леруа, „зрительная идеографическая внутренняя рѣчь близка болѣе или менѣе къ идеографическимъ письменамъ, употребляемымъ нѣкоторыми народами“. Написанное слово, представляющее элементъ мысли, по существу, не отличается отъ любого другого условнаго знака. Тѣмъ сдѣлалъ наблюденіе, что дѣти, приученныя считать въ головѣ, умственно пишутъ мѣломъ на воображаемой доскѣ указанныя имъ цифры, такъ же продѣлываютъ съ ними нужныя дѣйствія и подписываютъ результатъ. То же самое наблюдается и въ правильномъ идеографически писаніи; люди, которые въ произношеніи различаютъ слова *ее* и *ея* или произносятъ *его* (не *ево*), несомнѣнно, представляютъ себѣ современныя написанія этихъ формъ.

Одинъ изъ корреспондентовъ С.-Поля далъ ему слѣдующія свѣдѣнія: „У меня не бываетъ мыслей безъ того, чтобы не являлись слова, которыя служатъ переводомъ ихъ. Стоитъ мнѣ подумать: я пойду въ садъ и выкурю папиросу, какъ я сейчасъ же вижу эту мысль написанной моимъ собственнымъ почеркомъ. При этомъ мнѣ нѣтъ никакой надобности представить себѣ самый фактъ, т. е. въ данномъ случаѣ увидѣть себя

¹⁾ *E. B. Leroy. Le langage. Essai sur la psychologie normale et pathologique de cette fonction. Paris. 1905.*

прогуливающимся и курящимъ папиросу“. Такое внутреннее письмо можетъ выражаться въ различныхъ формахъ: слова являются то напечатанными, то написанными извѣстнымъ почеркомъ, чаще всего принадлежащимъ самому данному лицу. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ являющіеся образы написаннаго слова оказываются чрезвычайно блѣдными. Какъ мнѣ кажется, вообще, мы часто имѣемъ дѣло скорѣе съ мускульными воспоминаніями письма, чѣмъ съ видимыми образами написаннаго слова. Если мы желаемъ написать правильно слово, которое писали много разъ и правописаніе котораго вдругъ представляется намъ неясно, то мы пишемъ его съ закрытыми глазами. Въ этомъ случаѣ, конечно, на помощь намъ приходятъ привычныя двигательныя ощущенія, а не зрительныя образы слова.

Другое дѣло, однако, когда эти привычныя двигательныя ощущенія „сбиты“ другими подобными же ощущеніями (что наблюдается въ нашей обычной безобразной системѣ диктовокъ, устраиваемыхъ съ цѣлью „изловить“ ошибки въ правописаніи). Въ этомъ случаѣ передъ пишущимъ лицомъ являются два одинаково явственные зрительные или двигательные образа слова, и ему приходится прибѣгать къ помощи размышленія для выбора наиболѣе правильнаго. Наличие подобныхъ образовъ написанныхъ словъ чувствуется, вѣроятно, каждымъ, кто изучилъ чужой языкъ по книгамъ. Ихъ роль въ качествѣ замѣстителей первоначальныхъ образовъ предметовъ, которые играютъ столь важную роль въ духовной жизни безъ языка, проливаетъ извѣстный свѣтъ и на связь образнаго мышленія и языка. Чаще всего это „слова безъ образовъ“, по терминологіи Бине, но иногда образы, связанные со словомъ написаннымъ, однако связанные иначе, чѣмъ въ вышеприведенномъ примѣрѣ, заимствованномъ изъ книги Гальтона. Исслѣдователь внутренней рѣчи у дѣтей, Ог. Леметръ, приводитъ любопытный примѣръ этого рода изъ жизни 11-лѣтняго мальчика. „То, о чемъ онъ думаетъ, онъ слышитъ своими ушами, какъ будто произносимое его собственнымъ голосомъ, и въ то же время онъ видитъ это написаннымъ красивымъ и довольно крупнымъ почеркомъ, фіолетовымъ цвѣтомъ, на разстояніи около 25 сантиметровъ отъ его глазъ; однако, почеркъ этотъ не принадлежитъ ни ему, ни кому-либо изъ его знакомыхъ. Къ написанію большинства конкретныхъ словъ онъ присоединяетъ конкретный образъ написаннаго предмета, который входитъ въ написанное слово такимъ образомъ, что не теряется ничего: ни образъ, ни написаніе. Все это находится на одномъ уровнѣ, а не одно на другомъ; домъ, столъ, лодка и т. п. сохраняютъ свой естественный цвѣтъ, не покрывая ни одной частички фіолетовой надписи“. На рисунокѣ, приложенномъ къ этимъ наблюденіямъ, мы видимъ, дѣйствительно, какое-то подобіе картинокъ, которыя рисовались воображенію мальчика, но, очевидно, были переданы имъ совершенно схематически. Такъ, на словѣ *maison* красуется очертаніе дома, на словѣ *route* двѣ

лили, которыя должны изображать дорогу и т. п. ¹⁾. Картинки, конечно, не соотвѣтствуютъ тѣмъ неяснымъ зрительнымъ образамъ, которые являлись въ воображеніи мальчика. Тѣмъ не менѣе, отрицать достовѣрность наблюденій Леметра, какъ это дѣлается нѣкоторыми критиками, едва ли справедливо. По существу, такого рода переходъ отъ чисто зрительныхъ образовъ къ графическимъ вполне возможенъ. Вообще, наблюденія надъ внутренней рѣчью въ отроческомъ возрастѣ представляютъ живой интересъ для психологіи языка, и потому надъ новѣйшими изслѣдованіями Леметра, посвященными этому предмету, я считаю необходимымъ остановиться ²⁾. Несомнѣнно, что за предѣлами той схемы, которая установлена наблюдателями внутренней рѣчи у взрослыхъ (особенно, Ст.-Полемъ) остаются самыя разнообразныя формы ея у подростковъ. Какъ внѣшняя рѣчь устанавливается требованіями взаимнаго общенія, такъ экономія духовной жизни, профессиональныя привычки и т. п. устанавливаютъ болѣе или менѣе сходныя формы и внутренней рѣчи у взрослыхъ. Въ отрочествѣ этотъ шаблонъ психической жизни дѣйствуетъ съ меньшей силой и еще не успѣваетъ проявить свою мощь. Особенно ярко обнаруживается здѣсь типъ, который Леметръ называетъ *symbolo-visuel*, и примѣръ котораго былъ приведенъ выше. Такъ, подростокъ 16 лѣтъ видитъ свои слова изображенными въ видѣ простыхъ чертъ, написанныхъ на ярко освѣщенномъ фонѣ и занимающихъ столько пространства, сколько эти слова заняли бы на бумагѣ. 12-лѣтній мальчикъ мыслить фразу: „*Les montagnes de la Suisse sont belles*“ (горы Швейцаріи красивы) въ видѣ ряда буквъ *L m d S s b*, за которымъ стоитъ смутное очертаніе линіи горы, схема; мальчикъ отличался большими способностями къ математикѣ. Третій изъ наблюдаемыхъ мальчиковъ, 14-лѣтній подростокъ, съ ярко выраженными техническими способностями, видитъ, когда думаетъ, свою мысль въ формѣ написаннаго слова, составляющаго предметъ мысли; потомъ это слово замѣняется другимъ, составляющимъ предметъ слѣдующей мысли. Въ этомъ случаѣ мы видимъ, что зрительная форма внутренней рѣчи постепенно уже отмираетъ; мышленіе превращается изъ образнаго въ словесное, и зрительная форма внутренней рѣчи уступаетъ свое мѣсто, по всей вѣроятности, моторной, которая здѣсь выражается въ двигательныхъ образахъ письма.

Однимъ изъ такихъ ярко выраженныхъ зрительныхъ словесныхъ типовъ является тринадцатилѣтній мальчикъ, описанный Леметромъ. Онъ „видитъ свои мысли на разстояніи болѣе метра, написанными его собственнымъ, но увеличеннымъ почеркомъ и бѣлыми буквами. Мысль написана на одной линіи длиною отъ одного до двухъ метровъ; она исче-

¹⁾ *Aug. Lemaitre. Le langage intérieur chez les enfants. Lausanne. 1902.*

²⁾ *Aug. Lemaitre. La vie mentale de l'adolescent et ses anomalies. Saint-Blaise. 1910.*

зааетъ, какъ бы стирается, для того, чтобы уступить свое мѣсто другой чертѣ, которая начинается, какъ и первая, слѣва и т. д. Идя, онъ видитъ, приблизительно на полъ-метра передъ собой, фонъ размѣровъ обыкновенной черной доски, на которой записываются слова его мысли. Этотъ фонъ нерѣдко помѣщается на землѣ вслѣдствіе его привычки ходить съ опущенной головой. Особенностью внутренней рѣчи этого юноши является то обстоятельство, что величина буквъ все уменьшается и уменьшается, когда его мысль коротка, или увеличивается, когда она болѣе длинна, до известнаго мѣста, начиная съ котораго буквы сохраняютъ одинъ и тотъ же размѣръ. Въ среднемъ, первая буква достигаетъ 12—13 сантиметровъ, а слѣдующія уменьшаются до 8. Это представляетъ какъ будто бы подчеркиваніе начального или нѣсколькихъ первыхъ словъ мысли. И въ этомъ примѣрѣ я не нахожу ничего подозрительнаго въ смыслѣ недостовѣрности, хотя, несомнѣнно, *постоянно* такъ мыслить мальчикъ не могъ. Школьные впечатлѣнія должны были породить эту привычку видѣть передъ собой даже мысленно черную доску съ написанными на ней бѣлымъ мѣломъ словами. Подобныхъ примѣровъ Леметръ приводитъ нѣсколько. Всѣ они сводятся, по моему мнѣнію, къ излишнему утомленію отъ школьных занятій и обнаруживаютъ весьма любопытный фактъ, на который педагогамъ слѣдовало бы обратить вниманіе: именно, они показываютъ, съ какой силой школа вытѣсняетъ изъ познавательной дѣятельности ребенка зрительные образы, и какъ настойчиво она прививаетъ ему привычку мыслить *только* словами, безъ образовъ. Смѣна прежняго образнаго мышленія словеснымъ и вызываетъ и указанные многочисленныя и однообразныя явленія, которыя обладаютъ какимъ-то болѣзненнымъ элементомъ. Мы нерѣдко встрѣчаемъ указанія юныхъ самонаблюдателей на то, что такой процессъ писанія глазами ихъ сильно утомляетъ. У другихъ даже въ темнотѣ продолжается эта неустанная работа внутренней мысли, при чемъ слова представляются красными на зеленомъ фонѣ или зелеными на красномъ. Такъ какъ написаніе такой графической внутренней рѣчи производится обычно или почеркомъ учителя, или собственнымъ *лучшимъ* почеркомъ самого субъекта, то ясна связь этого типа мысли съ элементомъ *усилія*, необходимаго для школьнаго усвоенія. Поэтому, въ дѣтскомъ возрастѣ этотъ „вербо-визуализмъ“ (словесно-зрительный типъ) оказывается гораздо болѣе распространеннымъ явленіемъ, чѣмъ у взрослыхъ. Однако, и здѣсь онъ почти никогда (или, можетъ быть, вообще никогда) не является чистымъ и единственнымъ типомъ: смѣшанные типы (аудитивно-моторно-визуальные) оказываются обычнымъ явленіемъ, чистые рѣдкимъ исключеніемъ, уже почти переходящимъ въ область патологии.

Тѣмъ не менѣе, преобладаніе воспринимающаго (аудитивнаго) или воспроизводящаго (моторнаго) элемента во внутренней рѣчи замѣчается, конечно, у всѣхъ говорящихъ людей, и педагогика съ этимъ должна была

бы считаться. Въ то время, какъ одни ученики лучше усваиваютъ со словъ учителя, другіе могутъ усвоить лишь то, что они произнесли про себя, сами прочли, сами рѣшили; третьи, наконецъ, лучше всего запоминаютъ написанное. Только считаясь съ различіями въ характерѣ *переводчика знаній*, какимъ является для каждаго говорящаго лица его внутренняя рѣчь, школа окажется въ состояніи правильно оцѣнивать способности учащихся.

Но прежде всего она должна устанавливать связь между слуховыми и двигательными представленіями словъ у учащихся, т. е. приучать ихъ все слышимое произносить. „Связь между рѣчевыми символами и соответствующими имъ объектами искусственная, и процессъ изученія языка ¹⁾ состоитъ въ томъ, чтобы путемъ упражненія выработать прочную сочтательную связь между слѣдами отъ опредѣленныхъ звуковыхъ впечатлѣній (рѣчевые символы) и отпечатками впечатлѣній отъ внѣшнихъ объектовъ, соответствующихъ рѣчевымъ звукамъ, какъ символамъ. Благодаря установленію такой связи, вырабатывается одна изъ двухъ основныхъ рѣчевыхъ функций: именно *пассивная* (рецептивная). Но рука объ руку съ ней идетъ развитіе и другой основной функціи рѣчи, именно *активной* (продуктивной); въ основѣ этой послѣдней лежитъ выработка сочтательной связи между слуховымъ слѣдомъ, соответствующимъ символу даннаго объекта (геср. слѣдомъ, соответствующимъ самому объекту), и слѣдами тѣхъ двигательныхъ процессовъ рѣчевой мускулатуры, которые приводятъ къ воспроизведенію словеснаго знака, соответствующаго данному объекту“ ²⁾. Если нельзя отождествлять мышленіе съ рѣчью, т. е. утверждать, что *всякая мысль* есть сужденіе, выраженное словами, такъ какъ, повидимому, существуютъ и низшія формы заключеній безъ словъ (объ этомъ ниже), то, во всякомъ случаѣ, логическое мышленіе не можетъ обойтись безъ сужденій, выраженныхъ словами, ибо такое мышленіе можетъ быть только символическимъ, а какіе иные символы, кромѣ словъ, могутъ передать отвлеченную мысль, лишенную всякой образности? Именно примѣры расстройства рѣчи въ афазіи, истеріи, различныхъ душевныхъ болѣзняхъ, въ экстазѣ или даже сновидѣніи обнаруживаютъ, какой уронъ терпитъ отъ нихъ и вся душевная жизнь человѣка. Если могла возникнуть теорія (Р. Marie), отождествлявшая афазію со слабоуміемъ, и если на опроверженіе ея потребовалось столько усилій, не значить ли это, что нарушеніе въ той или другой степени внутренней рѣчи наноситъ интеллекту тяжкое положеніе, лишая человѣка способности мыслить символами словесными

¹⁾ и всего, что усваивается съ помощью языка, т. е. почти всякаго знанія. А. П.

²⁾ М. И. Аствацатуровъ. Клиническія и экспериментально-психологическія изслѣдованія рѣчевой функціи. (1908, стр. 168—169).

и заставляя его или находить имъ какую-либо замѣну или переставать думать.

Какъ артикулированная рѣчь человѣка восходитъ, какъ къ своему непремѣнному первоисточнику, къ рефлекторному инстинктивному крику, такъ и музыкальный языкъ его, т. е. пониманіе и воспроизведеніе музыкальных мелодій, имѣютъ своимъ источникомъ ритмъ и тонъ, понимаемые и производимые человѣкомъ инстинктивно. Внутренняя музыкальная рѣчь соответствуетъ словесной. Какъ опредѣляетъ ее I. Инженьерось („Le langage musical et ses troubles hystériques“ 1907, стр. 92), это—функция, аналогичная обыкновенному языку, но все же отличная отъ него, съ самостоятельнымъ ходомъ развитія, подчиненная собственнымъ нервнымъ центрамъ и могущая измѣняться или разрушаться, независимо отъ другихъ формъ словесной рѣчи. Такимъ образомъ, и музыкальный внутренній языкъ можетъ быть слуховымъ, двигательнымъ или зрительнымъ, и авторъ названной монографіи перечисляетъ пять различныхъ центровъ, которымъ, по его мнѣнію, подчинена внутренняя музыкальная рѣчь человѣка. Это чувствительный центръ (*centre sensoriel*) слуховыхъ образовъ музыкальных звуковъ, управляющій образами звуковъ; чувствительный центръ зрительныхъ образовъ читаемыхъ нотъ—эта особенность пріобрѣтается спеціальнымъ воспитаніемъ такъ же, какъ обыкновенное чтеніе; двигательный центръ образовъ артикуляціи, управляющій различными движеніями, которыя исполняетъ во время пѣнія спеціальнй голосовой аппаратъ; двигательный центръ графическихъ образовъ, предназначенный для управленія сложными мускульными движеніями, необходимыми для написанія нотъ; двигательный центръ для образовъ инструментальнаго исполненія. Какъ мы видимъ отсюда, въ области музыкальнаго языка и письма Инженьерось находитъ полное соотвѣтствіе словесной рѣчи и письму. При этомъ онъ констатируетъ возможность превращенія одного музыкальнаго типа въ другой. Примѣняя номенклатуру внутренней словесной рѣчи къ музыкальной, авторъ утверждаетъ, что съ помощью воспитанія индивидуумъ, представлявшій первоначально слуховой или зрительный типъ, можетъ превратиться постепенно въ „чувствительно-моторный“ (*sensitif-moteur*) или чисто-моторный типъ. „Эти лица вспоминаютъ музыкальную мелодію, когда исполняютъ ее или поютъ. Зрительная память, которой они пользуются, чтобы выучить мелодію, можетъ быть слаба у нихъ. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить, что такіе двигательные типы не должны непременно обладать слухомъ, какъ это бываетъ съ двигательными типами (*moteurs*), не умѣющими читать нотъ; человѣкъ можетъ научиться пѣть и играть, не обладая слухомъ: такъ случается съ глухимъ, который научается пѣть или играть, или со всякимъ индивидуумомъ, который пишетъ на машинѣ, ударяя по клавиатурѣ и не смотря на слова, которыя онъ пишетъ. Такія лица не могутъ научиться со слуха, они учатся съ помощью музыкальнаго

упражнения; воспитаніе моторныхъ образовъ исполненія является здѣсь господствующимъ и позволяетъ имъ исполнять мелодію на память, при чемъ они вовсе не должны слушать то, что играютъ, или видѣть ноты. Многіе изъ „виртуозовъ“ отличаются плохимъ слухомъ,—это „зрительно-двигательные типы“; воспитаніе можетъ превратить ихъ въ чисто двигательные“.

Эти замѣчанія спеціалиста по внутренней музыкальной рѣчи, несомнѣнно, представляютъ значительный интересъ и для психолога словеснаго языка. Если двигательные образы оказываются такими могущественными въ исполненіи музыкальной мелодіи человѣкомъ, обладающимъ не достаточно музыкальнымъ слухомъ, то, разумѣется, они должны обладать еще большимъ значеніемъ въ области, гдѣ эти двигательные образы (словъ) возникаютъ постоянно. Если, далѣе, съ помощью обученія достигается возможность развитія внутренней музыкальной рѣчи у лицъ, почти лишенныхъ ея первоначально, то въ области словеснаго языка это достигается скорѣе и проще. Какъ и въ вышеизложенныхъ примѣрахъ Леметра, мы видимъ, что одинъ типъ смѣняется другимъ подъ вліяніемъ обученія. Но мелодія должна быть первичнѣе фразы, потому что музыкальный звукъ первичнѣе слова, не являясь самъ по себѣ символомъ, какъ послѣднее. И возникновеніе внутренней музыкальной рѣчи должно предшествовать возникновенію словесной. Этотъ выводъ, имѣющій несомнѣнное значеніе для разрѣшенія проблемы о происхожденіи языка, диктуется аналогіей между двумя рассмотрѣнными категоріями внутренней рѣчи, по отношенію одна къ другой независимыми. Но какъ услышанный звукъ превратился у человѣка въ звукъ его собственной, сначала слуховой, а потомъ и двигательной внутренней музыкальной рѣчи, такъ и услышанное „чужое“ слово тѣми же путями превращалось и превращается въ *свое* слово, въ элементъ собственной внутренней словесной рѣчи. Отъ ритма и тона, понимаемыхъ и сознаваемыхъ инстинктивно, къ музыкальному звуку и мелодіи; отъ рефлекторнаго крика къ символу—слову: это одинъ и тотъ же путь отъ внѣшняго къ внутреннему и обратно: отъ внутренняго къ внѣшнему міру. Въ музыкѣ, въ пѣніи наличность двигательныхъ образовъ гораздо болѣе ощутительна, чѣмъ въ словесной рѣчи, хотя вышеприведенныя заявленія „моторныхъ“ типовъ (въ родѣ Штрикера или Даджа), кажется, ставятъ ее внѣ сомнѣнія. Между тѣмъ не только психологически между пѣніемъ и рѣчью существуетъ близкая связь. По утверженію доктора Инженьерось, эта связь простирается и на анатомическую область. „Физиологическіе центры музыкальнаго языка развились спеціально (*sont spécialisés*) въ центрахъ обыкновеннаго языка и остаются въ связи съ ними, какъ часть съ цѣлымъ“. Такимъ образомъ, именно это близкое соотношеніе между словеснымъ и музыкальнымъ языкомъ заставляетъ искать корней обоихъ рядомъ. Не произошло-ли, однако, обратное, т. е. не развились-ли центры рѣчи въ музыкальныхъ? Повидимому, мелодія

предшествуетъ слову; ея начатки ближе къ инстинктивной дѣятельности человѣка. Ритмъ и тонъ позже утрачиваются при разрушеніи интеллектуальной жизни, чѣмъ рѣчь.

Несмотря на то, что наличность двигательныхъ (моторныхъ) образовъ какъ въ музыкальной, такъ и въ словесной внутренней рѣчи засвидѣтельствована и самонаблюдениями и объективнымъ изслѣдованіемъ послѣдствій ихъ утраты и ихъ нормальной дѣятельности,—однако, вопросъ объ ихъ возникновеніи у каждаго отдѣльнаго человѣка одновременно съ другими словесными представленіями представляется еще не совсѣмъ яснымъ. Не возникаютъ ли они въ позднѣйшей психической жизни его? Такъ, французскій психіатръ Бернхеймъ совершенно отрицаетъ существованіе словесныхъ моторныхъ образовъ слова. „Если мы подумаемъ о томъ, что называется словесными образами, мы не сможемъ увидѣть въ слуховыхъ и зрительныхъ образахъ словъ что-нибудь иное, кромѣ разновидности слуховыхъ и зрительныхъ образовъ вообще; иначе ихъ и нельзя себѣ представить. Что же касается двигательныхъ образовъ словъ, то чѣмъ больше стараешься мысленно представить ихъ себѣ, тѣмъ менѣе это удастся. Больные, пораженные моторной афазіей, какъ говорятъ намъ обыкновенно, теряютъ способность координировать двигательные образы словъ, которые создаютъ артикулированную рѣчь. Если бы это было такъ, было бы достаточно снова обучить (*rééduquer*) этихъ больныхъ, чтобы возстановить въ ихъ памяти утраченную координацію. Однако результатъ, который получается отъ такого новаго воспитанія, оказывается очень посредственнымъ; въ награду за всѣ усилія, получается самое большее только нѣсколько словъ или нѣсколько односложныхъ сочетаній... Въ дѣйствительности, моторный афатикъ вовсе и не теряетъ своихъ двигательныхъ образовъ словъ и ихъ координаціи, просто потому, что такихъ образовъ не существуетъ“¹⁾. На это слѣдуетъ возразить, что невозможность возстановить утерянные двигательные образы словъ (главный аргументъ Бернхейма противъ ихъ существованія) указываетъ именно на отдѣльный центръ, управляющій ими, и на глубокое пораженіе этого центра при моторной афазіи. Центромъ двигательныхъ представленій словъ является открытая въ 1861 г. извилина Брока (лѣвая третья лобная извилина); центромъ слуховыхъ представлений, открытымъ Вернике въ 1874 г.,—первая височная извилина. „Двигательные центры коры, подобно зрительнымъ центрамъ, точно локализованы: они находятся у человѣка преимущественно въ передней центральной извилинѣ, лежащей впереди центральной борозды. Эта локалізація можетъ быть установлена еще болѣе точно: верхняя треть этой извилины связана съ нижними конечностями, средняя—съ верхними, а нижняя (вмѣстѣ съ сосѣдней нижней лобной извилиной) связана съ мышцами рта и языка.

¹⁾ *F. Bernheim. L'évolution du problème des aphasies. L'Année psychologique. 1907 г. стр. 367.*

Такимъ образомъ, нижній конецъ центральной извилины и нижняя лобная извилина имѣютъ особенно важное значеніе для рѣчи, и потому называются еще двигательнымъ центромъ рѣчи¹⁾. Такъ опредѣленно устанавливается современной психологіей наличность особаго мозгового центра, управляющаго двигательными образами словъ. Школа французскаго психіатра П. Мари, признающая лишь одну форму афазіи (кортикальную сексорную афазію Вернике), видитъ въ расстройствахъ рѣчи (*les troubles du langage*) только извѣстное ослабленіе интеллекта. Послѣдователь этого ученаго, Мутье, авторъ обширной монографіи („*L'aphasie de Broca*“ 1908), приходитъ къ выводу, что „мнимые слуховые (чувственные) симптомы афазіи не существуютъ; словесная слѣпота и словесная глухота являются интеллектуальными расстройствами въ пониманіи рѣчи“. Эта крайняя точка зрѣнія заставила пересмотрѣть и вопросъ о словесныхъ образахъ. Уже въ началѣ текущаго столѣтія Шторхъ (1903) отрицалъ возможность обособленія различныхъ формъ словесныхъ образовъ; раздѣляющій его точку зрѣнія, но не идущій такъ далеко, какъ школа П. Мари, нѣмецкій психіатръ Куртъ Гольдштейнъ такъ резюмируетъ эту среднюю точку зрѣнія²⁾. „Психологическая основа рѣчи представляетъ единство, различіе между слуховыми и двигательными образами словъ слѣдуетъ съ психологической точки зрѣнія отвергнуть и на мѣсто его поставить единое представленіе слова, которое съ одной стороны возбуждается акустическими языковыми воспріятіями, которыя не отличаются принципиально отъ другихъ воспріятій, а съ другой становится поводомъ къ моторнымъ движеніямъ рѣчи (*Sprachbewegungen*), которыя принципиально не отличаются отъ другихъ движеній. Языковыя представленія обладаютъ у большинства людей акустическимъ элементомъ, безъ котораго они вообще не являются. Съ такимъ же скептицизмомъ къ прежнимъ ученіямъ о центрахъ пониманія словъ относятся и многіе другіе современные психіатры. Такъ, извѣстный изслѣдователь расстройствъ рѣчи въ душевныхъ заболѣваніяхъ, проф. А. Пикъ въ своемъ докладѣ на сѣздѣ экспериментальной психологіи во Франкфуртѣ (1908) представилъ изложеніе современныхъ противорѣчивыхъ взглядовъ на этотъ предметъ и доказывалъ, что „пониманіе рѣчи представляетъ явленіе синтетическое, состоящее изъ цѣлаго ряда процессовъ“. (*A. Pick. Ueber das Sprachverständiss. 1909*). Однако это возраженіе, важное съ точки зрѣнія локализациі расстройствъ рѣчи, не имѣетъ особаго значенія для психологическаго изслѣдованія функций рѣчи. Какъ бы ни былъ, по своему образованію, сложенъ процессъ утраты словесныхъ представленій, эта утрата имѣетъ одно психологическое послѣдствіе—разрушеніе внутренней рѣчи.

¹⁾ Эббингаузъ. Основы психологіи. Спб. 1912, стр. 122.

²⁾ K. Goldstein. Einige Bemerkungen über Aphasie. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 45 т. 1908, стр. 416.

Изъ всего вышеизложеннаго вытекаетъ, что классическое ученіе о внутренней рѣчи, установленное Шарко, подвергается въ настоящее время пересмотру и рѣшительной критикѣ со стороны психіатровъ. Но эта критика не отрицаетъ значенія словесныхъ представленій, безъ которыхъ не можетъ обойтись внѣшняя рѣчь. Факты, указывающіе на преобладаніе въ томъ или другомъ интеллектъ двигательныхъ, слуховыхъ или зрительныхъ образовъ слова и на наличность ихъ въ каждомъ изъ нихъ, остаются неопровергнутыми фактами и указываютъ на разные способы приобрѣтенія и выраженія словесныхъ образовъ, безъ которыхъ, вообще говоря, не обходится мышленіе. Когда эти образы разрушены, мышленіе бываетъ сильно поражено; съ другой же стороны, расстройства мышленія, вызванныя какими бы то ни было причинами, отражаются на ясности и связности рѣчи. Словесное представленіе, несомнѣнно, въ нашемъ сознаніи обладаетъ единствомъ, ибо безъ этого единства (если бы напр. словесный образъ расчленился на слуховой и двигательный) оно и не было бы *словомъ* человѣческой рѣчи. Какъ только возникло это единство, т. е. сознаніе того, что и слышимое слово, и понимаемое, и произносимое есть одно и то же слово,—образовался языкъ въ человѣческомъ смыслѣ этого слова. До тѣхъ поръ это слышимое слово оставалось для человѣка, какъ для птицы, для собаки, только извѣстнымъ звуковымъ воспріятіемъ, а произносимое имъ „слово“ только безсознательнымъ разряженіемъ энергіи.

Г Л А В А IV.

Афазія и другія расстройства рѣчи.

Уже въ предшествующей главѣ мнѣ пришлось не разъ упоминать о тѣхъ расстройствахъ внутренней рѣчи, которыя сопровождаютъ афазію, и это указываетъ на необходимость коснуться и въ трудѣ, посвященномъ отношеніямъ между языкомъ и мыслью, вопроса о различныхъ формахъ расстройства рѣчи. Мнѣ пришлось также упомянуть и о томъ, что вопросъ о природѣ афазіи является въ настоящее время однимъ изъ острыхъ вопросовъ психіатріи, потребовавшимъ полного пересмотра. Едва ли, однако,—какъ можно судить по книгѣ д-ра Аствацатурова, по руководству Эббингауса (о центрѣ двигательной рѣчи), по литературнымъ обзорамъ въ спеціальныхъ журналахъ и т. д.,—старое классическое ученіе объ афазіи

Литература о внутренней рѣчи (кромѣ указанной въ текстѣ). G. Saint Paul. Le langage intérieur et les paraphasies. 1904. G. Ballet. La parole intérieure et les diverses formes de l'aphasie. 1886, 2-е изд. 1904. V. Egger. La parole intérieure. Essai de psychologie descriptive. 1881, 2-е изд. 1904. S. Stricker. Studien über die Sprachvorstellungen. 1880. R. Dodge. Die motorische Wortvorstellung. 1896. А. Погодинъ. Внутренняя рѣчь и ея расстройства. Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. 1906, ноябрь.